



УДК 316:830.1  
ББК 60.025+63.1  
Б 73

Научный редактор  
доктор философских наук **В.В. Богданов**

Переводы  
**Л.В. Горпынченко, Н.А. Кураева, Н.П. Проценко**

Рецензенты:  
Зав. кафедрой социологии, истории и политологии Института управления  
в экономических, экологических и социальных системах  
ФГАОУ ВО Южный федеральный университет, д.с.н.,  
профессор **Рачипа Андрей Валерьевич**;  
Зав. кафедрой управления НОУ ВПО  
Таганрогский институт управления и экономики,  
д.с.н., доцент **Янкина Ирина Анатольевна**.

**Богданов В.В., Фоменко О.А., Байлов А.В.**  
**Б 73 Социальная память.** – Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ»,  
2015. – 160 с.

В научной монографии представлен анализ исследований социальной памяти в трёх проекциях: социальная память в контексте индивидуального и общественного сознания; социальная память как эвристически значимые концепты в историографической методологии; социальная память в контексте проблемы социальной идентификации. Работа предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей, интересующихся историей и философией общественного сознания.

УДК 316:830.1  
ББК 60.025+63.1

© Богданов В.В., Фоменко О.А., Байлов А.В., 2015  
© Переводы Л.В. Горпынченко, Н.А. Кураева, Н.П. Проценко, 2015  
© Оформление ОАО «Полиграф-ЮГ», 2015

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>4</b>
История и социальная память в историографической традиции «Анналов».....	10
Исследовательский проект М. Хальбвакса.....	20
Проект «мест памяти» П. Нора.....	32
История и социальная память на пике дискуссий .....	43
История и социальная память в дискуссиях последнего десятилетия .....	51
История и социальная память в классической историко-философской традиции.....	68
<i>А) А. Бергсон о памяти и истории .....</i>	<i>70</i>
<i>Б) Феноменология памяти П. Рикёра .....</i>	<i>78</i>
История и социальная память в трёх проекциях .....	90
<b>ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ .....</b>	<b>112</b>
МАРК БЛОК Коллективная память, традиция и обычай касательно недавно вышедшей в свет книги (перевод с французского Л.В. Горпынченко, Н.А. Кураева).....	112
ЛОРАН ВИРТ История и память (перевод с французского Л.В. Горпынченко, Н.А. Кураева) .....	122
ДЕННИС КОЛЛИНЗ История или память? (перевод с французского Л.В. Горпынченко, Н.А. Кураева) .....	130
РОБИН ВАГНЕР-ПАЦИФИЦИ (Суортмор Колледж), БАРРИ ШВАРЦ (университет Джорджии) Мемориал ветеранам Вьетнама: памяти трудного прошлого (перевод с английского Н.П. Проценко).....	142
<i>Литература.....</i>	<i>156</i>

---

## Введение

Ставший едва ли не модой, исследовательский интерес к памяти в обществоведческих дисциплинах за последние 15 лет устойчиво растёт за счёт расширения междисциплинарного проблемного поля<sup>1</sup>. К ставшими классическими исследованиям «коллективной памяти» (Halbwachs, 1950), «мест памяти» (Nora, 1989) прибавились известные работы по «культурной памяти» (Bal, 1999), «социальной памяти» (Fentress, Wickham, 1992; Misztal, 2003), память начинает рассматриваться в этическом контексте (свидетельство и архив, забывание и прощение, идеология – кто решает, какие события будут запомнены и каким образом) (Ricoeur, 2004, Margalit, 2002, Rossington и Whitehead, 2007). Общим в этих исследовательских аспектах остаётся разве что соотнесение проблематики памяти с проблемами идентичности, тождества (Kansteiner, 2002).

Между тем, теоретически обоснованный прогресс в рамках ранее обозначенной проблематики исследований социальной памяти не столь очевиден. По-прежнему проблемными являются как само понятие памяти, так и эвристическая перспектива её исследования: «является ли память предметом изучения, единицей исследования или она является теоретической перспективой, позволяющей исследовать другие явления? Чем отличаются следующие понятия: память и история, или память и традиция? В каких аспектах процессы индивидуальной и коллективной памяти связаны между собой, и в каких они различаются? Насколько мы можем расширить такие связанные с памятью понятия, как запоминание, забывание или травма? Каким образом можно противопоставить запоминание индивидуумов и структуру социальной памяти? Какую роль играют язык и артефакты в создании памяти, в отражении опыта восприятия времени? Какие виды памяти – индивидуальная или коллективная, культурная или политическая, приведены в описаниях памяти с

---

<sup>1</sup> Материалы международной конференции «Память с учётом трансдисциплинарных перспектив: Действие, Практики и Размышления» в Эстонии. Тарту, 2007; конференция в Нью-Йорке, США в 2008 г. носила название «Возможно ли изучить трансдисциплинарную область изучений памяти?» и др.

учетом последовательности во времени?»<sup>1</sup>. В исследованиях имеет место неразличенность того, рассматривается авторами память как предмет или как метод исследования. Приобрела популярность позиция, согласно которой «память означает различные вещи в различное время (Рэдстоун, 2000), следовательно, наше понимание данного явления также должно быть диахроническим и динамическим»<sup>2</sup>. Hoskins в 2008 г. сформулировал тезис, согласно которому «область изучений памяти зависит от проблемы или темы, а не отдельного метода или традиции»<sup>3</sup>. Наконец очевидным фактом является, что рост интереса к проблематике памяти имеет существенные временные и географические различия. В США, Европе, Австралии проблематика памяти очевидно носила разное содержательное наполнение и возникала в разное время.

На неоправданно расширительное употребление понятия памяти в социальном контексте указывали Berliner, 2005, Klein, 2000, Fabian, 1999. На смешение антропологических и социальных параметров рассмотрения памяти обращал внимание J. Fabian, 1999. Междисциплинарный, «метаисторический» (K.L.Klein, 2000) характер рассмотрения категории памяти, между тем, чаще постулируется, в то время как за основу принимаются атрибутивные характеристики индивидуальной человеческой памяти. На отсутствие методологической базы исследований коллективной памяти, которая была бы отлична от преимущественно эмпирических исследований памяти индивида, указывает W.Kansteiner, 2002. В ряде случаев историками (J.Winter, 2000), антропологами (D.Berliner, 2005) фиксируется

---

<sup>1</sup>Koressaar E., Vosu E., Kuutma K. Mediation of memory: towards transdisciplinary perspectives in current memory studies //»Trames» 2008, Vol.12(3)62/57. P.243. Memory from Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices, and Mediations //Research Centre of Culture and Communication. – University of Tartu, Estonia January 11-14, 2007. P.243. Посредничество памяти: трансдисциплинарные перспективы в современных изучениях памяти. С.243.

<sup>2</sup>Koressaar E., Vosu E., Kuutma K. Mediation of memory: towards transdisciplinary perspectives in current memory studies //»Trames» 2008, Vol.12(3)62/57. P.243. Memory from Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices, and Mediations //Research Centre of Culture and Communication. – University of Tartu, Estonia January 11-14, 2007. P.243. Посредничество памяти: трансдисциплинарные перспективы в современных изучениях памяти. С.243.

<sup>3</sup>Koressaar E., Vosu E., Kuutma K. Mediation of memory: towards transdisciplinary perspectives in current memory studies //»Trames» 2008, Vol.12(3)62/57. P.247. Memory from Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices, and Mediations //Research Centre of Culture and Communication. – University of Tartu, Estonia January 11-14, 2007. P.247. Посредничество памяти: трансдисциплинарные перспективы в современных изучениях памяти. С.247.

прямая подмена понятием памяти, взятом в его антропологическом измерении, понятий культуры, истории, традиции, наследия. Однако и в этом субстанциональном антропологическом значении понятие памяти в отличие от более ранних исследований в современном употреблении сужено до «субъективности» и «пережитого опыта» (Misztal, 2003). Таким образом, общий объект исследовательского интереса «память» в действительности распадается на множество малосвязанных предметов научных изысканий (Roediger, 2008; Wertsch, 2008; Misztal, 2003). В связи с чем, «трансдисциплинарность изучений памяти» в большинстве исследователи считают скорее недостатком, нежели вселяющим оптимистические перспективы (S.Radstone, 2008).

Наиболее часто память в социально-историческом контексте рассматривается как «канал передачи информации» между поколениями (А. Ассманн, 1999, Ю. Лотман, 2000). В таком контексте память выступает объектом, выполняющим разные посреднические функции: информативности, сохранения, креатива. Функционализм памяти распадается в таких исследованиях на множество связанных операций: механизмы запоминания, избирательность запоминания, детерминанты запоминания, сохранение и способы определения и повышения его эффективности; воспроизведение и связанные с ним обстоятельства; интерпретация и её культурные основания; неосознанная трансформация образов памяти под воздействием индивидуальных склонностей, социокультурных стереотипов, создаваемых СМИ и формами визуально воспринимаемого искусства (кинематография) и даже под воздействием самой траектории запоминания и воспроизведения (Olick, 1999); повествование и напоминание другим (весь арсенал классических и современных технологий). Последние формируют как индивидуальную (Понятие личной культурной памяти, введенной Жозе Ван Диджеком (José van Dijck, 2004.)), так и коллективную парадигму интерпретации прошлого исторической памятью тех, кто не был участником прошедших событий (Коллективная память здесь отличается как субъектом действий, так и отличной от индивидуальной связью между «сохранением и трансформацией в организации коллективной памяти»). Художественные средства, которые используются для активации символических «мест памяти» рассмотрены исследователями S.McLean, Rohdewald, A.Saro, Jameson, Grainge. Активную позицию по вопросу актуализации исторической памяти занимают музеи, которые в отличие от архивов открыты для широкой публики и уже не только сохраняют память культуры (J.Assmann, 1999), но и транслируют её, сами

стремятся к потребителю и новым технологиям (Erlil, 2004). Тезис П. Нора об угасании коллективной памяти и сведении её к индивидуальному телу почти не находит сторонников в современных исследованиях. Определению памяти ведущая роль принадлежит технологиям создания промежуточных объектов (José van Dijck). Ведущим лейтмотивом изучения истории памяти чаще всего является идея создания новой перспективы написания культурной истории как истории памяти (Tai, 2001, Leith, 1999, Winter, 1997).

Разработанность проблемы отношения истории и памяти представляет собой по сути внешнее соединение различных исследовательских траекторий. Тревогу по поводу состояния исторической памяти выражали многие исследователи: Р. Барнет, Дж. Визнер, Г. Гендерсон, П. Гудмен, Д. Дьюдни, Л. Колдуэлл, Дж. Мейси, Дж. Нейсбитт, Т. Стивенсон, Р. Фолк, М. Фергюсон, О. Флехтгейм, К. Роджерс, С. Хофман.

Компаративистские и обзорные исследования представлены в работах П. Хаттона, Б. Г. Капустина, А.С. Панарина, В.М. Межуева, С.С. Неретиной, В.С. Добряинова, И.Т. Фролова, И.В. Бестужева-Лады, В.В. Кузина, А.К. Уледова, Н.С. Розова, М.А. Чешкова, И.М. Савельевой, А.В. Полетаева, В.В. Ильина, Н.И. Цымбаева, М.К. Горшкова, В.Э. Шляпентох, В.А. Ядова, В.И. Добренькова, Г.В. Осипова, Л.Г. Ионина, В.И. Курбатова, А.Г. Здравомыслова, Ю.Г. Волкова, Ю.А. Левады, Т. Парсонса, Р. Дарендорфа, Л. Козера, П. Бергера, Э. Гидденса, Дж. Хоманс, Р. Арон, У. Томас, Ю. Хабермаса, Р. Мертона, Г. Блумера, Н. Лумана, Н. Элиаса, У. Бека. Главным недостатком исследований исторической памяти представляется простая редукция социальной памяти к её антропологическому прообразу<sup>1</sup>. В этом случае теряется смысл в самом термине «история», так как индивидуальная память и оказывается историей индивида и его впечатлений. Соответственно и механизмы видят одни и те же. Носителем и исторической, и индивидуальной памяти видят того же человека, поэтому и ментальные структуры в обеих измерениях совпадают. То есть фактически речь идёт о том, что исследование исторической памяти напрямую связано с изначальной установкой на холистское или атомистически-номиналистское понимание общества. Уже отсюда признаётся различная или одинаковая природа общественного и индивидуального сознания и как следствие исторической памяти как её атрибута.

<sup>1</sup> С и н и ц и н а Н . А . Историческая память как регулятив современной культуры: социологический анализ. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. социолог. наук. Майкоп, 2008. 19 с.

«История памяти» является тем лингвистическим конструктом, который привлекает к себе интерес всё большего числа исследователей как философских, так и специализированных обществоведческих дисциплин. Предполагая, что столь широкий спектр исследовательских предпочтений, целей и практик не может случайным образом сходиться в одном проблемном поле, представляется необходимым попытаться выявить основания этого совпадения. Кроме того, отмечается наиболее устойчивое обращение к проблематике «истории памяти» специалистов историографии, социологии и философской антропологии. В связи с чем, эволюция интереса к этой проблематике представителей названных отраслей знания должна быть исследована в приоритетном порядке.

Начнем с кочующих из статьи в статью (без принципиальной предметной привязки) конвенций. Начальный этап обсуждения проблематики «истории памяти» относят к первой четверти XX века. Сопутствующими обстоятельствами этого интереса называют, во-первых, внимание к исследованию времени в отношении ментальных процессов в философии, благодаря А. Бергсону и М. Хайдеггеру, в социологии, благодаря Э. Дюркгейму и его сторонникам (Э. Дюркгейм, М. Мосса «Примитивная классификация» (1903), «Элементарные формы религиозной жизни» (1915); Дж. Г. Мид «Природа прошлого» (1929), «Философия настоящего»).

Во-вторых, проблематика «истории памяти» возникла в атмосфере повышения интереса к исследованию коллективных представлений. Рубежным этапом этого процесса стала вышедшая в 1925г. теоретическая монография французского социолога Мориса Хальбвакса<sup>1</sup>. В этой работе, начатой автором пятью годами раньше серией исследований по коллективной памяти, автор синтезировал анализ коллективных представлений Э. Дюркгейма с философией времени А. Бергсона.

В-третьих, исследовательское поле «истории памяти» с самого начала его возникновения, пересекалось или проходило параллельно с проблемным полем «истории ментальностей».

В четвёртых, особенности авторской интерпретации проблем, связанных с проектом «истории памяти», существенно зависели от содержательного наполнения, вкладываемого авторами в понятие исторического сознания.

<sup>1</sup>Х а л ь б в а к с М. Коллективная и историческая память // Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. М.: Новое издательство, 2007.; Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа: сборник. 2-е, испр. и расшир. изд. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – 780 с.

Пятым аспектом, влияющим на интерпретацию рассматриваемой проблематики, отмечаемым исследователями, является отношение к пониманию социокультурной значимости исторической науки и историографической методологии.

Содержательный материал, на основании которого исследователи традиционно пытаются вывести различные перспективы эволюции проблематики «истории памяти», и является первичным объектом анализа.

Прежде чем попытаться получить положительные выводы о том, какую эвристическую перспективу открывает исследование памяти индивидуальной и социальной в её отношении к истории предполагается необходимым провести анализ границ и возможностей памяти в отношении истории, какими эти границы предстали в исследовательских традициях современности. Этот известный кантовский мотив критической пропедевтики если и упоминается исследователями, то всё же тонет в порыве построения собственной феноменологической или герменевтической модели интерпретации памяти и истории. Границы же познавательных возможностей историографической способности наиболее отчётливо проявляются в самих этих позитивных концепциях, которые и предполагается рассмотреть.

В самом названии исследования может таиться двусмысленность: во-первых, «история памяти» как ещё одного предмета исторического исследования (в контексте истории ментальностей); во-вторых, место и роль памяти индивидуальной и социальной в отношении к истории как объекту исследования. Память как один из самостоятельных объектов истории, компонент «истории истории» (Ж. Ле Гофф, История и память), наряду с праздником, бытом, досугом, в проводимом анализе не рассматривается. Однако именно в этом контексте «истории памяти набирает силу искушение лишить память ее функции матрицы истории» (К. Помиан, 1998). Чаще всего здесь идёт речь о культуре памяти в исторической проекции, «войне памяти», «кризисах памяти», а не необходимом диалектическом отношении между историей и индивидуальной и коллективной памятью. Возможность злоупотребления появляется и у истории как эпистемологической процедуры и у памяти, как способности. Проекции в которых рассматривается проблема: история и память в контексте индивидуального и общественного сознания; история и память как эвристически значимые концепты в историографической методологии; история и память в контексте проблемы идентификации.

---

## История и социальная память в историографической традиции «Анналов»

В 1925г. опубликована работа М. Блока «**Короли-чудотворцы...**», начало которой было положено автором ещё в 1912 г. Публикация получила наиболее лестные отзывы лишь спустя десятилетия. В предисловии к этому изданию Ж. Ле Гофф привёл оценку Ж.Дюби, согласно которой М. Блок показал, что «глубинная природа социальных обстоятельств заключается в их ментальном характере» и призвал «продолжить работу над созданием той истории ментальностей, которую сам Блок разрабатывать не стал, но которой ровно полвека назад положил начало именно он»<sup>1</sup>. Ту же заслугу М. Блока – начало разработки истории ментальностей – отмечает в этой работе Блок и сам Ж. Ле Гофф. Автор предисловия определяет и смысл, который, по его мнению, является основополагающим для истории ментальностей, политической исторической антропологии и исторической психологии и отождествляет его с фразой М. Блока: «Вера в чудо возникла потому, что все этого чуда ожидали»<sup>2</sup>. Ж. Ле Гофф увидел инновацию М. Блока в том, что он связал «соотношения между теорией и практикой элиты, с одной стороны, и верованиями, ментальностью «простых смертных», с другой... Традиционная история идей позитивистского или идеалистического толка (немецкая *Geistesgeschichte*), витающая в облаках идей или пребывающая на вершинах общества, здесь бессильна»<sup>3</sup>. Указывает на авторский пафос истории ментальностей, по мнению Ж. Ле Гоффа, и многократное (19 раз) употребление Блоком синонимов терминов «кол-

---

<sup>1</sup>Ж. Ле Гофф Предисловие //Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.

<sup>2</sup>Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с. – С.578.

<sup>3</sup>Ж. Ле Гофф Предисловие //Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.

лективное сознание», «менталитет». Ссылаясь на Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф цитирует Блонделя: «нет смысла искать «всеобщие формы чувствования, мышления и действия». Иначе говоря, Блондель призывал к созданию дифференцированной истории, истории ментальности и поведения в разные эпохи и в разных регионах»<sup>1</sup>. Очевидно, эта мысль психолога Ш. Блонделя («Введение в коллективную психологию», 1929), работа которого вышла на четыре года позже «Королей-чудотворцев», согласно Ж. Ле Гоффу, является адекватной тому, что понимал под историей ментальностей М. Блок. А.Я. Гуревич довёл эту логику «модернизированной», но вполне понятной интерпретации «Королей-чудотворцев» до логического конца. В послесловии критик подвёл «итог» раннему исследованию М. Блока: «оно направлено не на открытие каких-либо универсальных законов и повторяющихся моделей, но на выявление индивидуального и неповторимого»<sup>2</sup>.

Между тем, анализ мыслей М. Блока в «Королях-чудотворцах» по поводу интересующих нас аспектов, в отношении к которым складывалась проблематика «истории памяти», не находит подтверждения приведенным интерпретациям. М. Блок вполне определенно выразил предметное поле своего исторического исследования – «исследовать целительные обряды и в более общем виде, выражающееся в них понимание королевской власти». При этом приходится акцентировать внимание, что М. Блок в этой работе наметил и осуществил именно историческое исследование, а не антропологическое, социально-психологическое, социологическое, политологическое, культурологическое или философское. В этой работе нет ни антропологического последовательного исследования природы человека, ни его экзистенции; в ней нет исследования ни общественного сознания, ни психологически окрашенного национального менталитета; в ней нет ни политологического, ни социологического исследования надстроечных институтов и социальных групп; тем более в ней нет культурологического исследования в том размытом смысле, какой представители этой нарождающейся дисциплины в неё вкладыва-

---

<sup>1</sup>Ж. Ле Гофф Предисловие //Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.

<sup>2</sup>Гуревич А.Я. Марк Блок и историческая антропология. Послесловие //Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.

ют, заимствуя в произвольном порядке методологический аппарат истории, философии и др. родственных отраслей исследования. В этой работе есть только история. Причем история как в сугубо эмпирическом смысле исследования (или даже расследования) информации, извлекаемой из исторических источников различной степени достоверности, так и в смысле той истории, которая позже будет названа М. Блоком как «понимающая история», и к которой по мере сил должен стремиться историк.

М. Блок использует материал и социальной психологии, и этнографических, социологических исследований, не чуждается и собственных философских обобщений, высказываемых в качестве гипотез, но именно использует в качестве средства для осмысления собственно исторического объекта, а не в качестве самоцели, и, менее всего, с целью презентации предметов новых научных дисциплин. Повседневность, ментальность важны для Блока, но не как самоцель, а как средство осмысленного (целостного, системного, органицистского) постижения исследуемого исторического явления. Видеть в этом историческом исследовании изучение человеческого сознания<sup>1</sup> можно не более, чем видеть в мошеннике профессионального психолога. В терминах современной методологии М. Блок использует системно-исторический подход, легитимизирует его в историческом исследовании, рассматривая эволюцию конкретного культурно-исторического явления не обособленно, а в отношении к другим элементам социальной структуры, выявляя необходимость («отчего целительный обряд возник в некий определенный момент, не раньше и не позже») его укоренения при определенных предпосылках и обстоятельствах. Объяснение одного элемента социальной структуры – институционализованного ритуала – историк осуществляет посредством обнаружения связи с социальной дифференциацией, зависимостью одних социальных акторов от других, и всех вместе – с господствующими формами общественного сознания. В такой истории «власть не представляла бы оторванной от своих обрядовых основ, от своих образов и представлений». Собственно «понимающей» история и становится благодаря «активной позиции упорядочивания материала», благодаря тому, что неизвестное включается в систему уже известных отно-

<sup>1</sup>Г у р е в и ч А . Я . Марк Блок и историческая антропология. Послесловие // Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.

шений и зависимостей. «Знание фрагментов, изученных по отдельности один за другим, никогда не приведёт к познанию целого – оно даже не позволит познать самые эти фрагменты»<sup>1</sup>. Скорее, представление здесь использует образ, связанный с эффектом голограммы, когда любой фрагмент фотографии содержит информации о целой экспозиции («целое в каждой части»).

М. Блок опирается на классическую субстанциальную метафизическую установку и веру в тотальность исторического процесса. Он более всего философ, когда говорит, что «некоторые коллективные представления, затрагивающие всю социальную жизнь в целом, схожи – в самых общих чертах – у большого числа народов; по-видимому, они служат признаками определенного этапа развития той или иной цивилизации и меняются вместе с этими цивилизациями<sup>2</sup> ... эти великие идеи, присущие всему – или почти всему – человечеству, получают, разумеется, в разных концах света и при различных обстоятельствах самое разное воплощение»<sup>3</sup>, оставаясь при этом историком, соединяющим «глубинные причины» со случайными обстоятельствами. За быстротечной событийной историей Блок пытается разглядеть устойчивое и неизменное. Этим призывом, который считается программным для традиции «Анналов», М. Блок прокладывает через эпоху сиюминутных интересов, экзистенциальной уникальности и постмодернистской мозаичности мостик к тому интересу, который возродится в программе исследований «истории памяти». Всё, что можно обнаружить и определить как связанное с человеческой уникальностью и индивидуальностью в этом исследовании М. Блока ограничивается авторским выводом о том, что сакральный ритуал чудесного излечения монархами в Европе был направлен на конкретного человека, облегчение индивидуального страдания, а не на достижение всеобщего благополучия, как это обычно имело место в античности. В отношении собственно памяти М. Блок немногословен. Он убеждён в её ненадёжности, «она избирательна и потому кажется

<sup>1</sup>Б л о к М . Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.88 – 89.

<sup>2</sup>В терминологии М. Блока «фазы более длительные называются цивилизациями» //Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.106.

<sup>3</sup>Б л о к М . Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.

мне не слишком справедливой»<sup>1</sup>. Однако память незаменима, т.к. «самые глубинные слои истории являются, возможно, и самыми надежными». В эпохи высокой динамики возникает потребность сконцентрироваться на устойчивом, которое и приходится искать в прошлом, когда социальный ритм не отличался стремительностью. Память традиции в этом случае приобретает, по мысли М.Блока, решающее значение. Любое начинание «одерживало победу в тех случаях, когда находило поддержку в сильных и старинных коллективных представлениях»<sup>2</sup>. В этой спасительной функции память прошлых традиций, о которой говорит М. Блок в своей ранней работе, неоднократно будет использована в полной динамике и противоречий истории XX века. То, что память традиции ненадежна, в этом случае становится условием сохранения самой этой традиции. Возникнув в определенных социально-исторических условиях, традиция наверняка бы потеряла свою привлекательность тот час, как эти условия изменились. Но каждое новое поколение вкладывает в традицию что-то свое, деформирует её под новые условия вплоть до неузнаваемости, но всё-таки сохраняет. Вероятно, такая модернизированная традиция «перестает быть для нас источником сведений о породившей его среде», однако, она позволяет легитимировать новации. При этом, большим заблуждением, по мнению М. Блока, было бы считать, что «отбор» полезных традиций, как ошибочно полагали «литераторы», можно проводить искусственно, сознательно, в соответствии с чьей-либо субъективной волей. Любопытно, что исходная гипотеза, родившаяся у М. Блока в окопах первой мировой войны, делает ставку на самые прочные традиции и представления коллективного сознания, освобождающиеся от идеологического налёта поздних эпох в экстремальной ситуации, как раз, и позволяет преодолеть большую временную дистанцию, и не только претендовать на объективное изучение прошлого, но и предвидеть наиболее устойчивые приоритеты в будущем.

По крайней мере, пока, по аналогии с М. Блоком, использующим в качестве начальной базовой интуиции презумцию, предполагающую, что нельзя объяснять веру народа в чудо излечения монархом страждущих от золотухи только одной суеверностью и необразован-

<sup>1</sup> Б л о к М . Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.

<sup>2</sup> Б л о к М . Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с. Кн.2.

ностью средневекового человека, проецируя её на исследуемую проблему, будем исходить из того, что огромный интерес западноевропейских исследователей к проблематике «истории памяти» должен иметь более веские основания, нежели мода или случайная конъюнктура. Споры об одном предмете, согласно М. Блоку свидетельствуют об объективной общности проблемы<sup>1</sup>.

Статья М. Блока *«Коллективная память, традиция и обычай касательно недавно вышедшей в свет книги»* в «Журнале (обзоре) исторического синтеза»<sup>2</sup> является его первой реакцией на публикацию книги М. Хальбвакса «Социальные рамки памяти» (1925). В этой работе Хальбвакс пытается объяснить способ существования прошлого в сознании. М. Блок связал выводы, полученные в книге М. Хальбваксом, с механизмом переноса индивидуального ментального опыта на коллективное сознание. Если у А. Бергсона сны человека и есть проявление памяти, то, согласно Хальбваксу, эти явления не сводимы друг к другу, т.к. «в снах картинки прошлого фрагментарны, недостаточно связаны между собой и с остатком прошлого, чтобы быть признанными как воспоминания» (р.75). Воспоминание, согласно М. Блоку, – это не пассивное созерцание картинок, а «в сущности, является восстановлением прошлого», и оно возможно только на основе материала (понятий, форм языка и т.д.), подготовленного многими другими людьми. Любая память, согласно М. Блоку, – это усилие восстановления. «Категории социального происхождения позволяют нам локализовать картинки прошлого во времени и в пространстве, назвать и понять их»<sup>3</sup>. Социальное влияние на индивидуальную память человек испытывает даже во сне. Память, пополняемая обществом задаёт социальные рамки для индивидуальных фактов. Здесь очевиден вывод не об онтологически существующей социальной (групповой) памяти, а о социальной детерминации индивидуальной памяти. Так, в номеналистической традиции обычно и интерпретировали современники смысл термина «социальная память» у Хальбвакса. Блок цитирует осторожное предположение Хальбвакса «в некотором смысле можно сказать, что она является только «частью и только аспектом памяти группы (р.196)». Однако сам М. Блок предпочитает говорить о «коллективной памяти» как о коллективных «представ-

<sup>1</sup> Б л о к М . Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.105.

<sup>2</sup> В л о с к М . Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent //Revue de synthese historique. 1925. Т. 40. P. 73 – 83.

<sup>3</sup> В л о с к М . Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent //Revue de synthese historique. 1925. Т. 40. P. 75.

лениях» или о «сознании», а не реалии, наподобие индивидуальной памяти, т.е. номинально в силу недостаточной обоснованности обратного. Значительное число обществоведов, благодаря Дюркгейму, «в течение последних лет нас приучили к поиску части «социального» в «индивидууме»... Мы свободно произносим слово «коллективная память», но не следует забывать, что как минимум одна часть феноменов, которые мы обозначаем таким образом, являются просто фактами общения между индивидуумами»<sup>1</sup>. Вопрос об онтологии социальной памяти становится ключевым для определения эвристической значимости этого метафизического конструкта.

М. Блок акцентировал внимание на особенно важной для него мысли, при этом явно усиливая смысл, вложенный Хальбваксом. Традиции коллективной памяти и актуальные идеи настоящего, связанные между собой, являются основанием любого общества. «Общество интерпретирует или даже знает прошлое только через настоящее, и к тому же настоящее имеет для него конкретный смысл и эмоциональную ценность только потому, что после него просматривается некоторое продолжение»<sup>2</sup>. Этот лейтмотив М. Блока сколь последовательно им воспроизводился в последующих работах, столь же устойчиво оставался многосмысленным и едва ли может рассматриваться как внятный методологический приём. М. Блок видит в материале книги проблемы, которые практически обходил М. Хальбвакс, но которые он намерен переадресовать историкам, именно переадресовать, интуитивно предполагая их значимость, а не сделать объектом собственного исследования: «Каким образом коллективные воспоминания переходят от поколения к поколению в одной группе?»<sup>3</sup> М. Блок замечает по этому поводу, что «для того, чтобы социальная группа, продолжительность которой превышает жизнь человека, «вспоминала», недостаточно того, чтобы различные члены, входящие в её состав, в определенный момент сохраняли в своих умах представления касательно прошлого группы; также необходимо, чтобы самые старые члены не отказывались передавать эти представления более молодым»<sup>4</sup>. Вообще, позиция М. Блока

<sup>1</sup> B l o c k М. Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent //Revue de synthese historique. 1925. Т. 40. P. 79.

<sup>2</sup> B l o c k М. Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent // Revue de synthese historique. 1925. Т. 40. P. 76.

<sup>3</sup> B l o c k М. Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent // Revue de synthese historique. 1925. Т. 40. P. 78.

<sup>4</sup> B l o c k М. Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent // Revue de synthese historique. 1925. Т. 40. P. 79.

в отношении вопросов, сформулированных Хальбваксом, не может свидетельствовать о её последовательности и проработанности лидером «Анналов...», по крайней мере в 1925 г.

М. Блок в «**Феодалном обществе...**» (1939, 1940) обращает внимание на следующие обстоятельства: «время играло незначительную роль вплоть до XIX в., не было ни средств измерения, в документах часто дата отсутствует, разноречивые исчисления и т.д.»<sup>1</sup>; латинский язык располагал к приблизительной определённости и точности понятий<sup>2</sup>; практика юридического прецедента способствовала тому, чтобы прошлое реконструировалось «таким, каким оно должно быть»<sup>3</sup>; «проблема эпоса принадлежит к самым спорным... в более общем смысле откроет плодотворные перспективы, – в плане коллективной памяти»<sup>4</sup>.

Последняя и одновременно программная работа М. Блока «**Апология истории...**», написанная в известных обстоятельствах в 1941 – 42 гг. конкретизирует и закрепляет интуиции раннего М. Блока. В этой же работе М. Блок и даёт зыбкую, но вполне достаточную почву для притягивания его историографических размышлений к различным новомодным обществоведческим научным ответвлениям, страждущим найти авторитетных предшественников. Вполне безобидный пафос М. Блока: не ограничиваться теоретическими конструктами, не отрываться от реальной практики человеческой жизни, выраженный в известном фрагменте: история – наука о «людях во времени»<sup>5</sup>, был объявлен неоспоримым свидетельством «антропологизма» её автора. Продолжение этой контекстной мысли М. Блока о том, что связь эпох важнее их различия, вера в тотальность «всемирной истории» этими наследниками не «обыгрывалась».

Историческое объяснение, согласно М. Блоку, не ограничивается поиском начал или истоков, а озадачено выявлением необходимости, объяснением «приживаемости» явления в определенном месте, в определенное время, учитывая высокую инерционность и континуальность социальных традиций. Менее всего в этой работе автор даёт повод для интерпретации его мыслей в духе историцистской изменчи-

<sup>1</sup> Б л о к М. Феодалное общество // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256с. С.122-181. С.148.

<sup>2</sup> Б л о к М. Феодалное общество // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256с. С.122-181. С.142.

<sup>3</sup> Б л о к М. Феодалное общество // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256с. С.122-181. С.154.

<sup>4</sup> Б л о к М. Феодалное общество // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256с. С.154.

<sup>5</sup> Б л о к М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.29.

ности и уникальности общества, человека и его сознания: «и в человеческих существах существует некий постоянный фонд... даже чтобы понять, чем они являются в этот именно момент, данных опыта будет недостаточно... Данные единичного опыта всегда бессильны для выявления его же компонентов и, следовательно, для его истолкования»<sup>1</sup>. М. Блок здесь сторонник коллективного исследовательского проекта.

Сама по себе беспорядочная память человечества, тем не менее, сохраняет и накапливает способы выстраивания своего собственного материала. Справедливое недоверие в этой работе М. Блок относит к индивидуальной и коллективной памяти, если она не закреплена на устойчивом носителе. Знаменитая цитата Бернарда Шартрского указывает, согласно М. Блоку, на фундаментальную укоренённость общественного сознания в памяти о предшествующем содержании: «Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что мы их выше, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост своим величием»<sup>2</sup>.

Субъективизм в равной степени присущ как прошлому из-за его недостоверности, так и настоящему из-за его субъективной значимости. Но прошлому присуща инерция. Объективность коренится в устойчивом, субстанциальном, возникает из регулярности и сохраняемости смысла «духа цивилизации», из объяснения необходимости внутри его времени, сохранившем прошлый опыт. Блок призывает изучать знаки из прошлого, «следы прошлого», т.е. «доступные нашим чувствам знаки», оставленные феноменом. Именно знаки и сохраняются исторической памятью, т.к. представления не могли сохраниться у потомков, они не видели их прообраза. Анализ исторической памяти в основе своей становится умозрительным. Однако самого системного анализа историографических оснований М. Блок не разработал. Акцентирование внимания на семантике знака не может игнорировать понятие памяти. Собственно «память» (в отличие от воспоминания) и есть в широко распространенной гегелевской интерпретации «переход от деятельности представления к мышлению» – «воспроизведение имени», т.е. знаков простых, неразложимых представлений, смысл которых не дан, а каждый раз даётся, «сущее как имя нуждается в другом, в значении представляющей интеллигенции, чтобы быть пред-

<sup>1</sup>Б л о к М . Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.27.

<sup>2</sup>Б л о к М . Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.246.

метом, истинной объективностью... мы мыслим посредством имен»<sup>1</sup>. Возможно, коррелятивность мыслей М. Блока и немецкого абсолютно идеалиста по ряду вопросов заслуживает большего внимания.

По замечанию А.Я. Гуревича, Блок выступил за возможность объективного познания истории не столько на почве поиска самоочевидных, достоверных источников (т.е. внешних оснований – критика источников: Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобос), а на основе исследования самой исторической мысли (т.е. имманентных оснований). В связи с чем его подход часто относят к феноменологическому<sup>2</sup>. Но этот методологический посыл Блока был слишком многозначным и утонул в массе противоречащих интерпретаций.

Лидеры первой волны традиции «Анналов...» видели предметом всеобщую, «глобальную историю» не в смысле всеохватывающего синтеза, а в смысле удержания системного единства, и связанности, в которой история не распадается на религиозную, экономическую, политическую и пр. и удерживается неизменной традицией, сохраняемой социальной памятью, коллективным менталитетом. На следующем этапе Ф. Бродель усилил эту позицию. К экономическому и социальному второе поколение «Анналов» прибавило культурное. Наиболее проблемным в концепции Ф. Броделя осталась связь «длительностей».

В коллективном сознании, согласно Ф. Броделю, изменяется повседневность, но сильны традиции и воспоминания. Человечество «живёт преимущественно в рамках собственного опыта и по мере движения поколений оказывается в ловушке своих прежних достижений»<sup>3</sup>, изменения происходят только «в верхних, единственных по-настоящему подвижных его структурах»<sup>4</sup>. В этом плане третий этап «Анналов...», несмотря на заверения Ж.Ле Гоффа, принципиально дистанцирован от концептуальных оснований своих предшественников. «Историческая антропология (Ле Гофф) выделяет черты отличия человека другой эпохи и иной культуры от человека наших дней»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Том 3. Философия духа. – М.: Мысль, 1977. – 471 с. – С.301–302.

<sup>2</sup>Гуревич А. Я. М. Блок и «Апология истории» // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.182–231. С.191.

<sup>3</sup>Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. 623 с. С.68.

<sup>4</sup>Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. 623 с. С.597.

<sup>5</sup>Гуревич А. Я. М. Блок и «Апология истории» // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.182–231. С.225.

## Исследовательский проект М. Хальбвакса

Собственно начало разработки проблематики «истории памяти» традиционно связывают с публикацией в 1925 г. работы Мориса Хальбвакса «Социальные рамки (контекст) памяти» («Les Cadres sociaux de la mémoire»). М. Хальбвакс входил в первую редакцию «Анналов» (1929) и представлял социологическое направление, разделяя принципиальные установки его учредителей.

Анализ индивидуальной памяти в её чистоте, без влияния других субъектов, согласно автору, возможен только в сновидении, в котором мало принимаются во внимание временные модусы, где всё происходит в настоящем. В бодрствующем состоянии память опосредуется интеллектом – реконструирует событие и, с необходимостью, искажает тем больше, чем больший опыт его разделяет с прототипом. Дальнейшее искажение вносит речь, в которой индивид пытается передать воспоминание, внося смысловые оттенки, закрепленные в конвенциях. «Люди, живущие в обществе, пользуются словами и понимают их смысл – такова предпосылка коллективного мышления. А каждое слово (если мы его понимаем) сопровождается воспоминаниями, и нет таких воспоминаний, которым мы не могли бы поставить в соответствие некоторые слова. Прежде чем вызывать в памяти воспоминания, мы их проговариваем...»<sup>1</sup>. Забывание, согласно М. Хальбваксу, происходит именно из-за того, что утрачена связь с системой понятий, которыми перестали пользоваться, не «находит вокруг себя средства, позволяющие его выработать»<sup>2</sup>. (Уже одно это «чрезвычайно важное наблюдение, вдохновляющее, – по мнению Н. Колягиной, – многих современных гуманитариев – от исследователей устных свидетельств (и трансформаций воспоминаний, наблюдаемых в них), до социологов, занимающихся политикой памяти и способами её сознательного конструирования разными группами»<sup>3</sup>).

История же, согласно автору, «не просто воспроизводит рассказы современников о событиях прошлого, но время от времени и подправляет их – не только потому, что располагает другими свидетельствами, но и с тем, чтобы приспособить их к приёмам мышления и

<sup>1</sup>Х а л ь б в а к с М . Социальные рамки памяти. – М.: Новое издательство, 2007. С. 325–326.

<sup>2</sup>Х а л ь б в а к с М . Социальные рамки памяти. – М.: Новое издательство, 2007. С. 127, 129.

<sup>3</sup><http://urokiistorii.ru/media/book/halbwachs>

репрезентации, свойственным нынешним людям»<sup>1</sup>. От индивидуальных механизмов памяти Хальбвакс переходит к опосредованию памяти в социальных группах, постепенно выявляя алгоритм возникновения традиции. На этом пути автор выделил два универсальных подхода: а) подогнать прошлое под идеологию и превратить память прошлого в устойчивый ритуал и догматические (разумеется, «истинные») формулировки; б) использовать как «руководство к действию» в настоящем. Идея, вполне актуализирована, исходя из потребностей настоящего П. Рикёром, Э. Хобсбаумом и Т. Рэнджером<sup>2</sup> (Ссылка. Н. Колягиной).

В итоге книги «Хальбвакс объясняет, каким образом сегодняшние идеи способны трансформировать традиционные воспоминания. Это происходит, например, когда новый социальный класс (буржуазия) первоначально мимикрирует, прикрывается ценностями старого (аристократии), постепенно подменяя, положим, представления о ценности воинской доблести и продолжительного служения короне рассуждениями о важности таких качеств, как компетентность, талант, а затем – богатство, доступ в определённые круги административного аппарата. Второе – наблюдение над тем, что современный человек часто выполняет в обществе множество функций, и во время перехода из одной группы в другую люди неизбежно привносят в одну из этих групп стиль мышления, заимствованный в другой, и наоборот. Отсюда мысль учёного о том, что коллективная память современного буржуазного общества «проиграла в глубине» (то есть давности воспоминаний) столько же, сколько выиграла в широте... Ценность работы Хальбвакса – в привлечении внимания к тому факту, что память складывается в неоднородном, исторически возникшем и фрагментарном пространстве общества»<sup>3</sup>.

В опубликованном отрывке «Коллективная и историческая память» из поздней работы М. Хальбвакса «**Коллективная память**», появившейся в печати в 1950 г., автор, по оценке Яна Ассмана, уже не ограничился анализом социальных рамок памяти, а «пошёл ещё дальше, объявив коллектив субъектом памяти и воспоминания, создав понятия «групповая память» и «память нации», в которых

<sup>1</sup>Х а л ь б в а к с М . Социальные рамки памяти. – М.: Новое издательство, 2007. С. 209.

<sup>2</sup>The Invention of Tradition / Eds E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983

<sup>3</sup><http://urokiistorii.ru/media/book/halbwachs>

понятие памяти оборачивается метафорой»<sup>1</sup>. Спустя 25 лет после первой работы, М. Хальбвакс сетует, что понятие «групповая память» не принято употреблять даже метафорически. Память традиционно относят к психологическим атрибутам отдельного человека, его сознания, что впрочем не мешает распределению отдельных эпизодических или частичных воспоминаний об одном явлении среди большого количества его свидетелей. В последнем случае заинтересованный в полноте информации о явлении человек может использовать как свои образы минувшего, так и собрать фрагменты памяти других людей в единую целостную картину события. Будучи опредмеченной память других людей получает самостоятельное, мало персонифицированное значение в качестве информации, соединенной с определенным носителем или сливается с собственными воспоминаниями отдельных лиц, традицией. Таким образом, образы памяти, потерявшие непосредственную связь со своими первоначальными носителями, «живут» по другим законам, не связанным с закономерностями индивидуальной психологии. Спустя небольшое время, не остается человека, который бы непосредственно помнил это содержание, как пережитое. Различия индивидуальной и социальной памяти доходят до противоположения.

– Воспроизведение содержания коллективной памяти зависит от внешних индивиду обстоятельств. Память социальная или историческая поддерживается памятью индивидуальной, но существенно шире её.

– Социальная память более дифференцирована, индивидуальная – более непрерывна.

– Социально-историческая память зависима: «история и впрямь похожа на кладбище, где пространство ограничено и где все время приходится находить место для все новых могил»<sup>2</sup>. Память индивиду ассоциативна, связана с определенными обстоятельствами и воспроизводит содержание, опираясь на эти «опорные точки». Индивидуальная память имеет соответствующие пространственные и временные пределы, не выходящие за пределы физического существования её носителя. Воспроизведение содержания индивидуальной памяти завит от него самого. Она более свободна.

<sup>1</sup> А с с м а н Я . Культурная память: Письмо. Память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. – М., 2004. С. 37.

<sup>2</sup> Х а л ь б в а к с М . Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005, №2–3(40–41) // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа: сборник. 2-е, испр. и расшир. изд.]. – М. : Новое лит. обозрение, 2005. – 780 с.

– Социальная – опосредована, индивидуальная – непосредственна.

Механизм возникновения социально-исторической памяти в этой поздней работе, согласно М. Хальбваксу, состоит в следующем. Индивид в первую очередь удерживает «существование самодовлеющего индивидуального сознания». Личное воспоминание о последовательности событий, разумеется, первично, но из него сама по себе ещё не возникает память как таковая. События и даты, составляющие материал групповой жизни, для индивида могут быть только внешними знаками, к которым он может обращаться, лишь покидая рамки своего «я». Если бы материалом коллективной памяти были только серии дат или списки исторических фактов, она бы играла лишь весьма второстепенную роль в закреплении наших воспоминаний. Однако человек пытается включить индивидуально переживаемый материал в схемы известного социального опыта, «в его памяти фиксируются не только факты, но и прежние образы действий и мыслей». «Коллективные рамки памяти не сводятся к датам, именам и формулам, а, напротив, представляют течения мысли и опыта, в которых мы находим наше прошлое только потому, что оно ими пропитано». В этом собственно и состоит понимание и осмысление индивидуальных действий. Механизм этого процесса, согласно автору, следующий. Между людьми в их общении о насущных индивидуальных заботах «возникает своего рода искусственная среда, внешняя по отношению ко всем этим индивидуальным сознаниям, но охватывающая их, – некие коллективные время и пространство и коллективная история. Именно в таких рамках встречаются мысли (впечатления) индивидов, что подразумевает, что каждый из нас временно перестает быть самим собой. Вскоре мы возвращаемся в нас самих, привнося в свое сознание извне готовые опорные точки и системные единицы. К ним мы привязываем наши воспоминания, но между этими воспоминаниями и этими опорными точками нет никакой тесной связи, никакой общности существа. Именно поэтому эти исторические и общие понятия играют здесь лишь крайне второстепенную роль: они подразумевают, что уже существует автономная личная память. Коллективные воспоминания накладываются на воспоминания индивидуальные, обеспечивая нам гораздо более удобный и надежный контроль над последними»<sup>1</sup>.

«Чаще всего я вспоминаю о чём-то потому, что к этому побуждают меня другие, что их память помогает моей памяти, а моя па-

<sup>1</sup> Х а л ь б в а к с М . Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005, №2–3(40–41).

мять опирается на их память... В таком смысле получается, что существует коллективная память и индивидуальные рамки памяти, и наше индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключено в этих рамках и участвует в этой памяти»<sup>1</sup>. «Некоторым психологам, возможно, покажется, что исторические события – это вспомогательные средства нашей памяти... Но когда мы вновь обращаемся к тому, что протекло таким образом, у нас всегда есть возможность распределить его различные части по единицам коллективного времени, которые мы находим вне себя и которые извне накладываются на все индивидуальные памяти именно потому, что они не происходят ни из одной из них. Определенное таким образом социальное время – совершенно внешнее по отношению к тому времени, которое переживается сознанием... наши жизни расположены на поверхности обществ, они повторяют их движение и испытывают на себе последствия их сотрясений. Но то или иное событие занимает свое место в ряду исторических фактов лишь через некоторое время после того, как оно происходит. Стало быть, мы можем привязать различные фазы нашей жизни к событиям национального масштаба лишь задним числом. Это лучшее свидетельство того, насколько искусственную и внешнюю операцию мы совершаем, обращаясь к делениям коллективной жизни, будто к опорным точкам. И это наиболее наглядно показывает, что, сосредоточив внимание на индивидуальной или на коллективной памяти, мы на самом деле исследуем два различных предмета.

«Индивиду доступны два типа памяти. Но в зависимости от того, соотносится ли он с той или другой из них, он занимает две совершенно разные и даже противоположные позиции»<sup>2</sup>.

История, согласно М. Хальбваксу – это форма коллективной памяти, которая опирается не на «хронологическую череду событий и дат, а все то, что отличает один период от других». «Чтобы прикоснуться к исторической реальности, стоящей за этой картинкой, ему необходимо выйти за пределы своего «я», усвоить точку зрения группы, увидеть, как тот или иной факт стал памятной датой потому, что проник в круг национальных забот, интересов и пристрастий. Но с этого момента данный факт перестает смешиваться с личным

<sup>1</sup> Х а л ь б в а к с М . Социальные рамки памяти. – М.: Новое издательство, 2007. С. 28 – 29.

<sup>2</sup> Х а л ь б в а к с М . Коллективная и историческая память // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа: сборник. 2-е, испр. и расшир. изд.]. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – 780 с.

впечатлением. Мы вновь входим в соприкосновение с исторической схемой»<sup>1</sup>.

«История – это не все прошлое, но она и не все то, что остается от прошлого. Или, если угодно, наряду с письменно зафиксированной историей существует живая история, которая продолжается или возобновляется через годы и в которой можно обнаружить большое количество прежних течений, казавшихся иссякшими... мы вполне свободны восстановить эту среду и воссоздать вокруг нас эту атмосферу, в частности при помощи книг, гравюр, картин... эти следы видны, иногда мы их видим в выражении лиц, в облике помещений и даже в образах мыслей и чувств, бессознательно сохранившихся и воспроизводимых теми или иными людьми в той или иной среде. Обыкновенно мы не обращаем на это внимания. Но достаточно взглянуть, чтобы обнаружить, что современные обычаи зиждутся на более древних слоях, которые тут и там выходят на поверхность»<sup>2</sup>.

По известному афоризму «большое видится на расстоянии», целостная картина, в которой индивид пытается обрести смысл, является той потребностью, достигая которой неточность воспоминания деталей далекого прошлого не выглядит большим недостатком: «по мере того, как воспоминания удаляются, мы привыкаем думать о них как о целом». «Прошлое рассматривается с позиции групп, а мы меняем группы и получаем пополнение картины с других позиций (важно, чтобы у меня не было полностью сложившегося неизменного образа)». Правда, при этом память и её следы имеют для меня смысл только в холистском мировоззрении, когда я своих предшественников воспринимаю как собственное прошлое, как будто припоминаю своё детство.

Национальная история «учитывает только те факты, которые касаются всех граждан или, если угодно, граждан в качестве представителей нации». Только те события, которые заставляли забыть частные интересы, видоизменяют жизнь каждого, опорными точками во времени. Это хорошо должны понимать сельские жители, для которых любые частности личной жизни могут быть значимы для целого (общины), а личные воспоминания перманентно «подправляются» воспоминаниями других.

<sup>1</sup> Х а л ь б в а к с М . Коллективная и историческая память // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа: сборник. 2-е, испр. и расшир. изд.]. – М.: Новое лит. обозрение, 2005. – 780 с.

<sup>2</sup> Х а л ь б в а к с М . Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005, № 2–3 (40–41).

Согласно М. Хальбваксу не является корректным сам термин «историческая память», так как в нём соединяют то, что противоположно по своей природе. История хранит, как считается, наиболее важные факты, но способ выбора того, что важно, имеет отношение скорее к предвзятости. Соединение фактов истории скорее представляет собой механический агрегат периодов, эрудицию меньшинства. «История обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память. Пока воспоминание продолжает существовать, нет необходимости фиксировать его письменно, да и вообще как-либо фиксировать. Поэтому потребность написать историю того или иного периода, общества и даже человека возникает только тогда, когда они уже ушли так далеко в прошлое, что у нас мало шансов найти вокруг себя многих свидетелей, сохраняющих о них какое-либо воспоминание»<sup>1</sup>. Должна распасться группа, для которой события представляли интерес, тогда «память расплывается по нескольким индивидуальным сознаниям, затерянным в новых обществах, которые уже не интересуются этими событиями, потому что они для них определенно являются внешними, тогда спасти эти воспоминания можно, только письменно зафиксировав их в форме связного рассказа – ведь слова и мысли умирают, а тексты остаются». Коллективная память, согласно М. Хальбваксу, отличается по меньшей мере в двух отношениях. Память естественна, хранит то, что живо в сознании группы, история – искусственно возрождает то, чего уже нет, создаёт иллюзию, что каждый период всё новое, в ней нет непрерывности пьесы, можно начинать с любого места, наследование группами названий чисто внешнее. Нет общества как целого, телесного, история каждый период рассматривает как целое, но не их органическую связь. Эти периоды длятся столько, сколько сохраняется потенциала в определенной группе, пока не реализованы все её следствия и она не исчерпала себя. Новые поколения могут кое-что прихватить из прошлого, но оно постарается быстрее слиться с новыми правилами. В этих образах Хальбвакса (на склоне холма) современники могут быть дальше, чем десятки предшествующих поколений. Память интересуется общим, историю интересуется различие. «Коллективная память же, напротив, – это группа, рассматриваемая изнутри, причем за период, не превосходящий

<sup>1</sup> Х а л ь б в а к с М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005, № 2–3(40–41).

средний срок человеческой жизни, а очень часто за гораздо более короткое время. Она представляет группе ее собственный образ, который, конечно, разворачивается во времени, поскольку речь идет о ее прошлом, но таким образом, что она всегда узнает себя в сменяющихся друг друга картинах. Коллективная память – это картина сходств, и она естественно воображает себе, что группа остается, и остается одинаковой, потому что она устремляет свой взгляд на группу, а изменились отношения или контакты группы с другими. Поскольку группа все та же, надо, чтобы изменения были очевидными: изменения, то есть произошедшие в группе события, сами превращаются в сходства – их роль в том, чтобы с разных сторон показать одинаковое содержание – различные фундаментальные черты самой группы»<sup>1</sup>. Различий у представителей групп может быть много, но они не фиксируются. Основой памяти выступает целостность группы. История могла бы быть универсальной памятью, но такой, согласно автору, не существует. Существует только одна история и много коллективных памяти. Исследуя историю и стремясь к объективности – нельзя становится на позицию одной группы, исследовать память можно только с позиции группы.

«Даже когда общественные институты претерпевают глубокие преобразования, и даже особенно в эти моменты, лучший способ укоренить их заключается в том, чтобы подкрепить их всеми еще доступными традициями. Поэтому тотчас после кризисов люди повторяют себе: надо начать с того момента, когда нас прервали, с исходной точки. И некоторое время, действительно, люди воображают себе, будто ничего не изменилось, потому что преемственность была возобновлена. От этой иллюзии вскоре освободятся, но она, по крайней мере, позволяет перейти от одного этапа к другому, не ощущая никакого перерыва в коллективной памяти»<sup>2</sup>.

Для М. Хальбвакса нерасторжима взимопроникающая связь между «двумя способами организации воспоминаний»: индивидуальной и коллективной памятью. А вот историческое сознание, историческая память (не пережитые индивидом события национальной истории) выступает внешней и даже насильственной для памяти индивида. Проблематично и соприкосновение исторической памяти,

<sup>1</sup> Х а л ь б в а к с М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005, № 2–3(40–41).

<sup>2</sup> Х а л ь б в а к с М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005, № 2–3(40–41).

её референт нация, с памятью коллективной (групп, элит). История противостоит традиции. Однако дискретная (периодизации) историческая память постепенно интегрируется в живую, непрерывную память. Единая история, довлеющая к всеобщности, соединяется с множественностью памятей, стремящихся к индивидуации.

В преимущественно социологической работе «Социальные рамки памяти» М. Хальбвакс ещё рассматривал память как структуры, доступные объективному наблюдению. Индивидуальная память без группы угасает, «мы никогда не предаемся воспоминаниям в одиночестве», «в границах коллективного мышления мы находим средства для воскрешения в памяти связи между объектами, их сцепленности». В индивидуальном воспоминании автор первоначально «искал и находил признак социального». Тем не менее, это не было основанием для М. Хальбвакса сводить индивидуально вспоминающего субъекта к коллективному субъекту: «каждая индивидуальная память является точкой зрения на память коллективную, что эта точка зрения меняется в зависимости от занимаемого мной места и что это место само меняется в соответствии с отношениями, которые я поддерживаю с другими социальными кругами»<sup>1</sup>. В «Коллективной памяти» индивидуальная менее однозначно ссылается на коллективную. Различие между индивидуальной и коллективной памятью, с точки зрения М.Хальбвакса, такое же как между коллективной и исторической памятью<sup>2</sup>. Желание свести один вид памяти к другому не может преодолеть противоречий. Остаётся рассматривать индивидуальную и коллективную память как диалектически единое, распадающееся только в глазах исследователя. Однако между ними нет зеркальной симметрии. Опираясь на этот вывод П. Рикёр констатирует, что «области пересечения феноменологического понимания коллективной памяти и социологической трактовки индивидуальной памяти не существует»<sup>3</sup>.

Проблематика социальной памяти существенно трансформировалась у Я. Ассмана, П. Нора, П. Рикёра. Благодаря социологу М. Хальбваксу<sup>4</sup>, историк искусства А. Варбургу (теории «социаль-

<sup>1</sup>Halbwachs M. La Mémoire collective. Paris, PUF, 1950. op. cit., p. 51–96, p. 97–142

<sup>2</sup>Halbwachs M. La Mémoire collective. Paris, PUF, 1950. op. cit., p. 94–95.

<sup>3</sup>Рикёр П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.174.

<sup>4</sup>Хальбвакс М. «Память и ее социальные условия» (1925) Halbwachs M. Les cadres sociaux de memoire. Paris, 1925. «La topographic legendaire des Evangeless en Terre Sainte. Etude de memoire collective» (Paris, 1941); «La memoire collective» (Paris, 1950, 1968).

ной памяти» в изображениях искусства)<sup>1</sup>, и Я. Ассману<sup>2</sup> проблема памяти была перенесена из традиционно психологического дискурса в сферу культурных явлений. Хотя смысл понятия «культурная память» у них существенно различен.

Если М. Хальбвакс акцентирует внимание, прежде всего, на коллективные воспоминания, которые суть обусловленная современностью реконструкция прошлого. Воспоминания, следовательно, могут рассматриваться как коллективный социальный феномен (М. Хальбвакс называет это «коллективной памятью»), необходимый для жизни и выживания общества, будучи тем общим, что конституирует общество как таковое, является залогом его идентичности. «Прошлое» не возникает в наших знаниях само по себе, а является «искусственным продуктом» современности. Воспоминания не просто некая «данность», а относящаяся к современности, созданная ею «общественная конструкция», следовательно, встает вопрос: какое «прошлое» познает историк, занимающийся изучением культурной памяти и каковы условия этого познания?

М. Хальбвакс видел задачу современной ему исторической науки в «осмыслении неотрефлексированной традиции», т. е. в изучении коллективной памяти.

А. Варбург отнёс к социальной памяти весь фонд изображений и жестов, которым располагают и Запад, и Восток, а также то, как они с этим культурным наследием управляют.

Для Я. Ассманна культурная память – это непрерывный процесс, в котором социум формирует и поддерживает свою идентичность посредством реконструкции собственного прошлого. Я. Ассманн

<sup>1</sup>Warburg A. M. Ausgewahlte Schriften und Wurdigungen / Hg. v. D. Wuttke. Baden-Baden, 1992 (3. Aufl.). Анализ творчества см.: Капу Р. Mnemosyne als Programm. Geschichte, Erinnerung und die Andacht zum Unbedeutenden im Werk von Usener, Warburg und Bejanmin. Tubingen, 1987.

<sup>2</sup>Assmann J. Das kulturelle Gedachtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identitat in friihen Hochkulturen. «Культурная память. Письменность, воспоминание и политическая идентичность в древних культурах» Miinchen, 1992. S. 21-24; Assmann J. Moses der Agypter: Entzifferung einer Gedachfnisspur. Miinchen [u. a.], 1999 «Моисей египтян. По следам одной традиции»; Kultur und Konflikt / Hg. v. J. Assmann. Frankfurt a. M., 1990; Schrift und Gedachtnis. Beitrage zur Archaologie der literarischen Kommunikation / Hg. v. A. Assmann, J. Assmann, Ch. Hardmeier. Miinchen, 1983; Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung / Hg. v. A. Assmann, D. Harth. Frankfurt a. M., 1991; Memoria. Vergessen und Erinnern/ Hg. v. A. Haverkamp, R. Lachmann. Miinchen, 1993; Assmann J. Herrschaft und Heil: politische Theologie in Altgypten, Israel und Europa. Miinchen [u. a.], 2000; Idem. Agypten: eine Sirmgeschichte. Miinchen, 1996.

помимо культурной (тексты, строения, ритуалы длительная, требует профессиональных хранителей, носителей) и коммуникативной памяти (устная традиция общения семьи в 3 поколениях 80–100 лет) выделяет еще миметическую память, предполагающую запоминание посредством подражательного повторения действий, и «память вещей» из повседневного быта, осуществляющую «привязку» человека к миру, в котором он живет<sup>1</sup> (Assmann J. Das kulturelle Gedachtnis. S. 20 и сл.). Я. Ассманн обосновал задачи и возможности изучения культурной памяти (сам он называет предмет своего исследования «историей памяти» – *Gedachtnisgeschichte*)<sup>2</sup> – изучение только того прошлого, которое осталось в воспоминаниях – традиции, интертекстуальной сети континуитетов и дисконтинуитетов в литературе о прошлом, будучи сохраненным в живой традиции или в текстах, т.е. в своего рода рецепции. Но прошлое, подчеркивает Я. Ассманн, не просто «реципируется» настоящим, а «открывается» им заново, «моделируется» в зависимости от обстоятельств в самом настоящем, так что гораздо продуктивнее говорить о «динамике воспоминания», чем о рецепции. Цель изучения «истории памяти» Ассманн видит не в том, чтобы вычленил «историческую правду» из существующей традиции, а чтобы проанализировать саму эту традицию как феномен коллективной или культурной памяти. Воспоминания могут быть неверными, фрагментарными или намеренно созданными, и в этом смысле они совсем не надежный источник для «объективных» фактов. То же самое касается и культурной памяти. Поэтому для изучающих ее историков «истинность» воспоминания заключается не в его «фактичности», а в его «актуальности»: события либо продолжают жить в культурной памяти, либо забываются. Установить, согласно автору, почему то или другое событие продолжает жить в воспоминаниях, и есть самое важное.

Анализ исторического и памяти с позиции его ценности (поучительности) для настоящего, а не с целью объективности или истинности (хотя пределы вымысленности тоже должны быть, иначе почему бы не анализировать мечты и фантазии). Почему в отличие

<sup>1</sup>Assmann J. Assmann, J. Assmann, Ch. Hardmeier. München, 1983; Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung / Hg. v. A. Assmann, D. Harth. Frankfurt a. M., 1991; Memoria. Vergessen und Erinnern/ Hg. v. A. Haverkamp, R. Lachmann. München, 1993; Assmann J. Herrschaft und Heil: politische Theologie in Altgypten, Israel und Europa. München [u. a.], 2000; Idem. Agypten: eine Sirmgeschichte. München, 1996.

Das kulturelle Gedachtnis. S. 20

<sup>2</sup>Assmann J. Moses der Agypter... S. 26.

от индивидуальной памяти что-то забывается, а что-то – нет – избирательный характер запоминания и забывания. Если что-то запоминается, имеет смысл на фоне того, что забывается.

Если исторический позитивизм покоится на отделении исторического от мифического в традиции и различает элементы, которые сохраняют прошлое, и те, которые формируют настоящее, то задача «истории памяти» состоит в том, чтобы анализировать мифологические элементы традиции и разгадывать их скрытый смысл: «История памяти задается вопросом не о том, действительно ли Моисей был искусен во всех премудростях египтян, а о том, почему это представление всплывает не в Старом Завете, а уже только в Новом?» Таким образом, в центре внимания Я. Ассманна не историческая фигура Моисея (поэтому он, например, не выясняет вопрос о его национальности), а традиция воспоминаний о нем. В этом смысле «Моисей египтян» принципиально отличается от «Моисея евреев» или «библейского Моисея». Благодаря последнему в культурной памяти Западной Европы сохранилась картина Древнего Египта как страны деспотии, магии, культа животных.

В истории памяти интерес представляет не события, а поиск оснований исторической памяти, избирательности фиксации, запечатления именно такой подробности или вымысленности события. Здесь историческая память – основание исторического сознания. Изменение и развитие предмета в историческом сознании предполагает фиксацию начала и результата и того устойчивого, что изменяется. Но в обоих способах – интерпретации исторического сознания.

Ассманн развил свою концепцию «истории памяти» в аспекте принципиального ее отличия от «истории фактов». Без учета этого отличия история памяти может легко превратиться в историческую критику воспоминаний. Однако мифическая сторона истории не имеет ничего общего с ее фактической стороной. Таким образом, подчеркивает он, историческое изучение событий и изучение воспоминаний о них (традиции и ее превращения в коллективную память групп) не могут быть взаимозаменяемыми.

Культурная память являет собой не просто хранилище фактов прошлого, а непрерывно функционирующее реконструирующее образование. Здесь Я. Ассманн развивает далее мысль М. Хальбвакса о том, что прошлое не дает себя «сохранить», «законсервировать», оно постоянно опосредуется настоящим, приспосабливается к нему. То, как и в какой мере происходит это опосредование, зависит от духовных потребностей и интеллектуального потенциала данных индивида или группы в данном настоящем. Истинность воспомина-

ния предопределена той самой идентичностью, которая формирует культурную память, поскольку всякое сообщество представляет собой то, что оно само о себе помнит, и эта истинность обусловлена его историей, но не той, которая «была», а той, которая хранится и развивается в культурной памяти.

Культурная память, таким образом, не только объект исследования, но и форма рефлексии о самой науке, об условиях возможности научного и исторического познания и о том, какие события и процессы современности влияют на него. Здесь Я. Ассманн находится в русле традиции изучения наук о культуре в начале XX в., представители которой (М. Хальбвакс, А. Варбург, М. Вебер, Г. Зиммель, Э. Кассирер и др.) указывали на то, что всякое исследование культуры постоянно имеет в виду вопрос о статусе научного познания и его условиях. «Познание культурной действительности», писал М. Вебер, не может быть ничем иным, как «познанием с совершенно специфических особых точек зрения». Они конституируются установками, истолкованиями, ценностными идеями. Таким образом, они «субъективны», т. е. связаны с познающим субъектом, с его собственной историей, временем, с классом, к которому он принадлежит. Данное обстоятельство определяет ограниченность познания, которую нельзя устранить, можно лишь ввести в некие рамки – благодаря осмыслению этой субъективности и ее исторической и общественной обусловленности<sup>1</sup>.

## Проект «мест памяти» П. Нора

По инициативе и под руководством Пьера Нора с 1984 по 1992 г. осуществлён масштабный исторический исследовательский проект, который был опубликован в Париже издательством Gallimard под названием «Места памяти» («Памятные места») («*Les lieux de mémoire*») (Республика, Нация, Франция). Отдельные статьи этого проекта были изданы на русском языке в 1999 г.<sup>2</sup> Проект состоял из 7 томов и содержал 6000 страниц, написанные 130 учеными. Само понятие «места памяти» с 1993 г. стало классическим термином и постепенно стало приобретать всё более широкий и не всегда умест-

ный смысл. Первоначальная цель проекта – «вернуть память под контроль историков в условиях, когда прошлое становится непредсказуемым... Первые тома «Мест памяти» (т. 1 «Республика» (1984); т. 2 «Нация» (1986); т. 3 «Разнообразиие Франции» (1992) составлялись в разгар «эпохи сомнений» – тогда они мыслились как работа по деконструкции отживших стереотипов национального мифа путем раскрытия механизмов их конструирования и функционирования»<sup>1</sup>. Ключевой идеей проекта стала связь памяти с национальной идентичностью. Теоретическое обоснование этой связи, однако, не так легко поддавалось опосредованию.

От уверенного тона первой статьи этого проекта «Между памятью и историей. Проблематика мест» не остаётся и следа к середине 90-х.

В опубликованном фрагменте французского историка, академика, лидера научного течения «Новая история», преемника традиции школы «Анналов» П. Нора «Проблематика мест памяти»<sup>2</sup>, автор констатировал исчезновение памяти социальных групп. Память исчезла потому, что исчезли сами эти группы – носители коллективной памяти (крестьянство). Согласно автору, потому и обострился интерес к памяти, что ее больше нет. Вместе с потерей органической целостности общества «повисли в воздухе» и институты передачи социальной памяти и традиций: семья, школа, церковь, государство, идеология. Наконец, изменилось и само историческое сознание (благодаря СМИ), ограничившее «свое наследие самым сокровенным, эфемерной фотографией актуальности». У Хальбвакса память выполняла функцию непрерывной связи поколений, поэтому с её исчезновением, делает вывод П. Нора, потребность в «непрерывности» находит свое убежище в местах памяти»<sup>3</sup> (*lieux de mémoire*). Разорванная на периоды и темы история и является, с точки зрения П. Нора, результатом разрыва целостной национальной памяти на исторические эпизоды абстрактного прошлого. Раньше история была тождественна памяти. Теперь с исчезновением эволюционирующих, живых социальных групп история искореняет память. Результат – обрыв связи идентичности. «Евреи пока не ассимилировали чуждые традиции за счёт их традиционализма – народ – память».

<sup>1</sup>У в а р о в П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. №5(19). 2004.

<sup>2</sup>Н о р а П. Проблематика мест памяти // Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 17-50.

<sup>3</sup>Н о р а П. Проблематика мест памяти // Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 17.

<sup>1</sup>В е б е р М. Избранные сочинения. М, 1989. – С. 380.

<sup>2</sup>Франция-память – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999.

Память сосредоточена на устойчивости, наследовании, традиции и консерватизме; история как познавательная операция – на изменчивости и забывании. В истории, в отличие от памяти, содержание меняется. С нового времени, согласно автору, возросло само стремление изменяться, возникшее вместе с правом и властью. Субстанция классики была противопоставлена историзму.

Память, в концепции П. Нора, абсолютно не терпит плюрализма интерпретаций, а это значит, что ей невозможно существовать в эпоху диалогического постмодернистского дискурса. Память – неререфлектируема, жизненна, всегда актуальна, в настоящем, символична и мифологична, связана с сакральным, достоверна, множественна и неделима, коллективна и индивидуальна, субъективна, связана с конкретным носителем (образом, объектом); история – всегда относительна, проблематична, аналитична, критична, репрезентативна, укоренена в прошлом, связана со светским, универсальна, претендует на объективность, не прикреплена ни к чему, кроме времени, история менее всего склонна доверять памяти<sup>1</sup>. История практически полностью противоположна памяти. Иначе говоря, история – это тоже память, но которая из непосредственной объективно-коллективной превратилась в субъективно-индивидуально-психологическую и косвенную, архивную<sup>2</sup>. Поскольку же неизвестно, что может понадобиться в будущем, постольку надёжнее всё вообще превращать в архивы и памятники, т.е. утрата национальной памяти повлекла лихорадочное увеличение процедур, которые могли бы её спасти. «Производство архива – это обостренное свойство нового сознания»<sup>3</sup>. «В эпоху потрясений устоев знаний каждая дисциплина стремится проверить свои основания с помощью их ретроспективного просмотра»<sup>4</sup>. Поэтому историей своих дисциплин усиленно занимаются все учёные, а не только историки.

Память – психологическая, самоосуществляющаяся, неуправляемая способность; историческое познание – осознанная, регулируемая волей мыслительная операция. Проблема тогда ещё и в возможности и адекватности рефлексии психологического механизма, недоверии разума чувствам, их противоречиям и познавательным механизмам и возможностям.

<sup>1</sup> Н о р а П. Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 20.

<sup>2</sup> Н о р а П. Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 29.

<sup>3</sup> Н о р а П. Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ,

<sup>4</sup> Н о р а П. Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 33.

При этом амбиции у историков, а не в социальной памяти. Историки сохранили бы памятники только для того, чтобы было о чем спорить и на чём материале доказывать, т.е. как средство. Интерес был бы только в процедуре выяснения, а не в сакральности этих памятников. Признаком «отрыва истории от памяти является начало истории истории, совсем недавнее пробуждение во Франции историографического сознания... внутреннее превращение истории-памяти в историю-критику»<sup>1</sup>. История всю реальность пытается рассмотреть как историю, она и приживается там, где множество памятей и традиций (США). Во Франции же традиция по преимуществу, а потому не были в чести историки. Появление интереса к историографии, согласно автору, – это смена непосредственности индивидуального восприятия стремлением к унификации и отчуждению. Занимаясь историографией события, «мы больше не идентифицируем себя полностью с его наследием», потребность в изучении традиции говорит об отмирании традиции, «деидентификации с памятью», сама память становится объектом истории. Если же история начинает заниматься ментальностями прошлого, то нация как целостный субъект уже потеряна, а вместе с ней теряется и традиция, необходимость в передаче ценностей (педагогика). Историческое исследование, согласно П. Нора, не может работать на интересы нации – страны. Только посредством нации память «отстаивает свою священность». Но «в кризисе 1930-х гг. пара государство-нация постепенно стала замещаться парой государство-общество... С тех пор, как общество заняло место нации, легитимизация через прошлое и, следовательно, через историю уступила место легитимизации через будущее»<sup>2</sup>. Память стала рассматриваться как феномен исключительно индивидуальный. Автор фиксирует на примере памяти-истории распад, атомаризацию общества и, соответственно, множественность памятей. Автор зафиксировал на материале трансформации социальной памяти те процессы, которые в истории философской мысли со второй половины XIX в. назвали переходом от классики и субстанциализма к неклассической мысли и функционализму. Историки зафиксировали сдачу последнего бастиона холизма. Однако в целом этим выводом подчёркивается не возникновение новой метафизической установки (наряду с космоцентризмом, теоцентризмом и антропоцентризмом),

<sup>1</sup> Н о р а П. Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 21–22.

<sup>2</sup> Н о р а П. Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 24–25.

а лишь тотальное воцарение новоевропейского субъект-объектного антропоцентризма в последних «закоулках» общественного сознания. Только если в XVI – XVII в. этот процесс был связан с утратой прочного основания в авторитете святого Писания, то в конце XX в. перестала быть прочным основанием коллективная память нации. Выходом из этой ситуации в новое время стал поиск предельных оснований познания и бытия. Какую форму общественное сознание (тенденция атомаризации общества не может изменить его социальной природы) примет в XXI в. в связи с полным проявлением внутренних оснований антропоцентризма остаётся пока под вопросом.

Таким образом, от памяти остаются только места памяти – «крайняя форма, в которой существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его, но нуждающейся в нем ... сообщество, которое по природе своей ценит новое выше старого, молодое выше дряхлого, будущее выше прошлого. Музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, храмы, ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели другой эпохи, иллюзии вечности. ... в обществе, которое стремится распознавать только равных и идентичных индивидов... переход от тотемической истории к истории критической – это и есть момент мест памяти. Больше никто не прославляет нацию, но все изучают способы ее чествования»<sup>1</sup>. Соответственно, с распадом национальной памяти особую значимость приобретают, согласно автору, люди, которые будут профессионально заниматься её сохранением. Субстанциализм памяти состоял в том, что «раньше истинное восприятие прошлого историей-памятью состояло в констатации того, что на самом деле прошлое не прошло»<sup>2</sup>. Память нации была тем постоянством субстанции, которое сохранялось при всяком событийном изменении. Эта связь становится внешней как только сознание «замыкается» на внешнее, превращаясь в «алхимию сущности». Субъективность историка остаётся последней субстанцией. «...Историография, неизбежно вступившая в свою эпистемологическую пору, с определенностью завершает эру идентичности... Только те книги по истории являются местами памяти, основу которых составляет переработка памяти, или те, что представляют собой педагогические бревиарии»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Н о р а П . Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 26.

<sup>2</sup> Н о р а П . Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 35.

<sup>3</sup> Н о р а П . Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 39, 44.

П. Нора называет свою концепцию гипотезой «мест памяти» «в трех смыслах слова— материальном, символическом и функциональном,— но в очень разной степени. Даже место, внешне совершенно материальное, как, например, архивное хранилище, не является местом памяти, если воображение не наделит его символической аурой. Даже чисто функциональное место, такое как школьный учебник, завещание или ассоциация ветеранов, становится членом этой категории только на основании того, что оно является объектом ритуала. Минута молчания, кажущаяся крайним примером символического значения, есть как бы материальное разделение временного единства, и она же периодически служит концентрированным призывом воспоминания. Три аспекта всегда сосуществуют»<sup>1</sup>. Значимые функции мест памяти состоят «в остановке времени, в блокировании работы забвения, в фиксировании настоящего порядка вещей, в обессмерчивании смерти, в материализации нематериального (золото есть единственная память денег) для того, чтобы заключить максимум смысла в минимум знаков»<sup>2</sup>, т.е. в конечном счёте в устойчивости и целостности того, что изменяется, т.е. в субстанциальной идее. «Все места памяти – это отдельные предметы, отсылающие к памяти как к целому»<sup>3</sup>. Места памяти – это «бессознательная организация коллективной памяти, которой мы позволяем осознать самое себя. Места памяти – это наш момент национальной истории... Все исторические и научные подходы к памяти, будь их предметом память нации или социальных ментальностей, имели дело с *realia*, с самими вещами, предельно живую реальность которых они стремились познать. В отличие от всех исторических объектов, места памяти не имеют референции в реальности. Или, скорее, они сами являются своей собственной референцией, знаками, которые не отсылают ни к чему, кроме самих себя, знаками в чистом виде. Это не значит, что у них нет содержания, физического существования и истории, совсем напротив. Но местами памяти их делает как раз то, благодаря чему они ускользают от истории»<sup>4</sup>. «Места памяти» лишь по названию связаны с топографией, но большая их часть не являет-

<sup>1</sup> Н о р а П . Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 40.

<sup>2</sup> Н о р а П . Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 41.

<sup>3</sup> Н о р а П . Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 43.

<sup>4</sup> Н о р а П . Проблематика мест памяти //Франция-память. – СПб.: СПбГУ, 1999. С. 48–49.

сы отсылкой к пространству. Это отметины, следы, временные символы – календарь, церемония, флаг... – всё, что ещё хранит фрагменты памяти, служить её укрытием. Эти «места» общие как для памяти, так и для истории, но «необходимо, чтобы существовало желание помнить. ...Если отсутствует это намерение помнить, то места памяти становятся местами истории». Разрыв континуальности памяти, зафиксированный П. Нора, имеет следствием разрыв в сознании социального субъекта. Атомаризация общества, его лишь номиналистическая общность в такой ситуации не кажутся парадоксальными.

В 2002 г. журнале «Transit» (№ 22) впервые опубликована статья П. Нора, переведенная в России как «**Всемирное торжество памяти**»<sup>1</sup>. «Мы живем в эпоху всемирного торжества памяти. В последние двадцать или двадцать пять лет все страны, все социальные, этнические и семейные группы пережили глубокое изменение традиционного отношения к прошлому, ... прочно соединив верность прошлому – действительному или воображаемому – с чувством принадлежности, с коллективным сознанием и индивидуальным самосознанием, с памятью и идентичностью»<sup>2</sup>. Но это уже не память нации. Возрожденный интерес к прошлому выразился в тотальных генеалогических изысканиях, «культе корней (*roots*)», юридических пересмотрах прошлых событий, росте числа музеев, архивов. Французы, согласно П. Нора, называют этот процесс «*patrimoine*» (аналог английского «*heritage*»). Предшествующее этому разрушение единства исторического времени вызвало обратную реакцию в общественном сознании. Все три господствовавшие стратегии построения будущего («как реставрация прошлого, как прогресс или как революция») обнаружили свою ограниченность. «Именно конец всякой телеологии истории – конец истории с известным концом – возложил на настоящее тот «долг памяти», ... «работу памяти» (П. Рикёр)» ... потому что в них скрывается секрет того, что мы есть, нашей «идентичности»<sup>3</sup>. Возникла тенденция «попросту вытеснить слово «история» и поставить занятия историей на службу памяти».

Второй причиной этого интереса к памяти стал рост самосознания малых групп на волне демократизации, тех групп, у которых не было ранее «права на свою историю». «Он сделал актуальным мало-

<sup>1</sup> Н о р а П. Всемирное торжество памяти //Неприкосновенный запас, 2005. № 2–3(40–41).

<sup>2</sup> Н о р а П. Всемирное торжество памяти //Неприкосновенный запас, 2005. № 2–3(40–41).

<sup>3</sup> Н о р а П. Всемирное торжество памяти //Неприкосновенный запас, 2005. № 2–3(40–41).

употребительное прежде понятие «коллективная память». Раньше история относилась к обществу, а память – к индивидууму, соответственно история была единой, а память – множественной. «Идея, что памятью обладают именно сообщества, предполагает глубокое изменение места индивидов в обществе и их отношения к коллективу: здесь секрет загадочного, взывающего к объяснению успеха еще одной идеи, а именно идеи идентичности, без которой невозможно понять *theupsurgeofmemory* – рост памяти. Слово «идентичность» претерпело смысловую инверсию, аналогичную и параллельную тому, что произошло со словом «история». Из индивидуального понятия она стала коллективным, а из субъективного – как бы логическим и объективным»<sup>1</sup>. Идентичность перестала сводиться к отпечаткам пальцев и особым приметам на теле, характеризовать уникальность отдельного человека. «Теперь это слово стало категорией группы, формой определения человека «извне». ...Идентичность, как и память, стала долгом. От меня требуют самоопределения: кто я – корсиканец, еврей, рабочий, алжирец, негр. Именно здесь, на уровне обязательств, возникает связь между памятью и социальной идентичностью. С этой точки зрения они подчиняются одному и тому же механизму: эти слова стали практически синонимами, и их сближение характерно для новых механизмов исторической и социальной динамики»<sup>2</sup>. Согласно П. Нора, произошёл переход «от исторического самосознания к *социальному* сознанию. Вместо национальной идентичности – торжество социальных идентичностей». Социальные группы потребовали своего признания.

Следствиями утери единства смысла и нынешнего расцвета памяти социальных групп стали бесконечные мемориальные чествования, которые стремятся к узакониванию «множественности возможных версий прошлого». Вторым следствием стала утеря монополии профессионального историка на интерпретацию прошлого. Эмансипация и освобождение оборачиваются своей противоположностью «и превращается в форму замкнутости, мотив исключения и орудие войны. Требование возвращения памяти – в принципе форма взывания к правосудию. Но на практике она часто оказывалась призывом к убийству. Может быть, пора обратить против памяти обвинение, предъявлявшееся Ницше истории, и повторить сказанное в «Не-

<sup>1</sup> Н о р а П. Всемирное торжество памяти //Неприкосновенный запас, 2005. № 2–3(40–41).

<sup>2</sup> Н о р а П. Всемирное торжество памяти //Неприкосновенный запас, 2005. № 2–3(40–41).

своевременных размышлениях», заменив слово «история» словом «память»: «...существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов приводит его к гибели, будет ли то отдельный человек, или народ, или культура». Об этой стороне памяти мы тоже обязаны помнить»<sup>1</sup>.

1 февраля 2010 г. член Французской академии Пьер Нора прочитал в Российском государственном гуманитарном университете открытую лекцию «**Существует ли историческая идентичность Франции?**». Лекция была опубликована в электронном журнале под названием «**Расстройство исторической идентичности**»<sup>2</sup>. П. Нора с горечью констатирует, что в современной Франции сложилась целостная философия «удачно приспособленная к духу времени, ведущая к всеобщей криминализации прошлого». Её общим лейтмотивом является призыв к правящим политикам самим решать, что в истории является истиной и возводить в закон эти решения. Направлен этот призыв по замыслу «не против историков, а против активистов исторической лжи». Первым практическим результатом этого явилось расширение понятия «преступление против человечества» и его перенос на всех жертв национальной и даже всемирной истории. В результате возникают юридические основания преследовать не только участников расстрелов в Катыни, но и активистов Варфоломеевской ночи. Франция таким образом могла бы пойти и дальше и предъявить обвинения испанским завоевателям, истребителям американских индейцев, спросить за действия китайцев в Тибете. Ничто не мешает пересмотреть и Крестовые походы, в которых у Востока тоже есть серьёзные претензии к Франции. История, таким образом, превращается в память только одной политической элиты. Это пример того, сколь значительна может быть гегемония памяти при её неподобающем использовании.

Пробуждение памяти эмансипирующихся меньшинств при внешней видимости справедливости имело результатом бесконечное разрастание исторических исследовательских перспектив, в которых эти группы начинают диктовать собственное прочтение прошлого. От скромного призыва к уважению и признанию эти группы перехо-

дят к требованию пересмотра всей истории и придания официального статуса их односторонней проекции. В результате, констатирует П. Нора, национальные дни празднования превращаются в дни покаяния о криминальном прошлом. «Всеобщая тенденция переписывать прошлое в свете памяти и судить его от ее имени прямо ведет к упразднению любых форм исторического мышления и духа истории... Память по определению стирает хронологические различия и переходы, игнорирует факторы трансформаций и условия изменений. Речь больше не идет о том, чтобы понять и объяснить другим прошлое ради него самого, познать его, чтобы сделать зримым, воссоздать цепь причин, которые сделали нас тем, чем мы являемся сегодня, а о том, чтобы пригвоздить к каждому феномену прошлого оценку, основанную на сегодняшних критериях и ценностях, как если бы сами эти ценности и критерии не были продуктами истории и существовали испокон веков... Случилось так, что память незаметно переплелась с моралью и поглотила историю»<sup>1</sup>. История, делает вывод П. Нора, не должна судить прошлое современным судом.

П. Нора ставит вопрос в самой традиционной форме: если предыдущая история была сплошным насилием, можно ли отвернуться от неё, «может ли человеческое сообщество и национальная общность обойтись без генетического понимания своего прошлого и позитивного отношения к собственной истории?»<sup>2</sup> Можно ли усомниться в своей исторической идентичности?

Противоречия в современном историческом сознании тем острее, чем глубже оказывается пропасть между светлым образом национального прошлого, передававшегося традицией, и «тяжким, запоздалым столкновением с исторической правдой, которая несовместима с этим образом, разбивает его и кажется еще черней, чем была на самом деле»<sup>3</sup>. Ложь предшественников, претензии правителей и засекречивания архивов, а не успешная работа историков привели к этому противоречию. Но не следует при этом, по мнению П. Нора, впадать в противоположную крайность, создавая законы, приобретающие обратную силу. Мультикультурализмом Франция уже отреагировала на бывшую колонизацию народов, но продолжает заниматься национальным мазохизмом покаяния. Это и есть, по мысли фран-

<sup>1</sup> Н о р а П. Расстройство исторической идентичности // Мир истории. 2010. № 1.

<sup>2</sup> Н о р а П. Расстройство исторической идентичности // Мир истории. 2010. № 1.

<sup>3</sup> Н о р а П. Расстройство исторической идентичности // Мир истории. 2010. № 1.

<sup>1</sup> Н о р а П. Всемирное торжество памяти //Неприкосновенный запас, 2005. № 2–3 (40–41).

<sup>2</sup> Н о р а П. Расстройство исторической идентичности //Мир истории. 2010. № 1.

цузского историка, шараханьем в крайности политиков, присваивающих себе статус носителей истинной исторической памяти.

В интервью П. Нора «Историки поняли, что законы – очень опасная вещь» от 31.05.2010, опубликованном в журнале «XXI век», глава ассоциации «Свобода для истории» обосновывал главную мысль о том, что история должна быть независимой от государства. «Власти имеют право и даже должны содействовать формированию коллективной памяти об исторических событиях, памяти о жертвах (например, заниматься компенсациями жертвам, облегчением их положения, сохранением памяти об их страданиях). Но всякий закон, принятый по поводу исторических оценок, может быть очень опасным»<sup>1</sup>. Такие законы, даже принятые из благих побуждений, в конечном итоге оборачиваются против объективного исследования историков. И Франция на себе проверила опасность таких законодательных инициатив, в результате которых монополию на историческую истину присваивают меньшинства. Основаниями, которые не учитывают пострадавшие в истории группы являются: «Во-первых, современные моральные концепции не работают в области истории. Если судить о прошлом, применяя к нему современные нравственные критерии, тогда вся история может предстать, как история преступлений. Во-вторых, мы рискуем впасть в то, что известный историк Марк Блок называл «непростительным грехом анахронизма» (приписывание людям другого времени и другой культуры эмоциональных установок и норм поведения, свойственных самому историку и современности – *urokiistorii*)»<sup>2</sup>.

В этом же интервью П. Нора разъяснил область определения своего понятия «места памяти». ««Мемориалы» – это то, что создают официальные общественные объединения или правительство, чтобы сохранить память о чем-либо. Название улиц, ассоциации ветеранов, памятники жертвам войны; все это – «мемориалы»... пространство памяти, которое гораздо шире, чем отраженное в мемориалах представление о прошлом. «Местом памяти» может стать слово, институция. Французская академия, например...»<sup>3</sup>. Места памяти, согласно П. Нора, не создаются искусственно, сверху. Они сами собой становятся символами нации.

<sup>1</sup> Н о р а П. Историки поняли, что законы – очень опасная вещь //21 век. Интервью 31/05/2010

<sup>2</sup> Н о р а П. Историки поняли, что законы – очень опасная вещь //21 век. Интервью 31/05/2010

<sup>3</sup> Н о р а П. Историки поняли, что законы – очень опасная вещь //21 век. Интервью 31/05/2010

Позже в статье «Нация-память» П. Нора отделил национальную память от государства, отказавшись и от посредничества истории. Статья «Поколение» в третьей части книги «Места памяти» опирается на идею горизонтальной социальной связи в лице поколения, «обеспечивает преобладание горизонтальной идентичности (через простое равенство людей разного возраста) над всеми формами вертикальной связи». Поколение, «которое единственно и послужило всем последующим поколениям моделью и шаблоном»<sup>1</sup>. Однако заканчивается свод работ под заглавием «Места памяти» констатацией разрушения «модели национальной идентичности».

Э. Дюркгейма, для которого минувшее оставило лишь бессмысленные остатки для историков, П. Нора ратует за «возвращение события».

## История и социальная память на пике дискуссий

Немецкий историк Райнхарт Козеллек (Reinhart Koselleck) «**Можем ли мы распоряжаться историей?**»<sup>2</sup> (глава из книги «**Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени**», 1979. *Über die Verfügbarkeit der Geschichte*. In: *Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. 3. Aufl. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979 // S. 260–277).

Р. Козеллек исходит из предпосылки, что понятия и эпоха тесно связаны и потому анализирует условия возможности появления самого термина «история». В опубликованном в переводе разделе автор стремился показать «когда и каким образом возникло представление о том, что человек может вершить историю по своему усмотрению... в каких пределах история в действительности позволяет на себя воздействовать... само выражение «вершить (*machen*) историю» создано нашим временем: до Наполеона, а тем более до Французской революции оно было немислимо... мысль о способности человека творить историю возникла лишь около 1780 года... в результате длительной эволюции теоретической мысли Просвещения»<sup>3</sup>. Раньше слово история имело смысл только во множествен-

<sup>1</sup> Н о р а П. *Les Lieux de mémoire*. III, p. 942–944.

<sup>2</sup> К о з е л л е к Р. Можем ли мы распоряжаться историей //Отечественные записки. №5(19). 2005.

<sup>3</sup> К о з е л л е к Р. Можем ли мы распоряжаться историей //Отечественные записки. №5(19). 2005.

ном числе как примеры чужого поучительного опыта. Переход к единственному числу предполагал новый горизонт ожиданий. К особенностям истории «в единственном числе» Р. Козеллек отнёс её собирательный смысл всех отдельных «историй», повествование о событиях (Historie), «история как действительность и история как рефлексия по поводу этой истории-действительности были подведены под общее понятие истории как таковой», всемирный характер истории (Geschichte). В этой тотальной истории человеку принадлежала инструментальная функция её производства, планирования, познания. Повествовательное значение истории становится вспомогательным, основное значение – действие. Только на основе самосозидания человеком истории (Geschichte-Machen), согласно И. Канту, может мыслиться а priori. При этом, правда, не было понятно основание: человек может творить историю, потому, что знает, как она должна развиваться, или потому, что будущее ни в чём не predetermined и человек творит то, что считает в данный момент необходимым. Полностью волюнтаристский подход был даже менее популярен, чем страховочная опора на объективные закономерности. Последний подход пользовался наибольшей популярностью у активных политических радикалов. Р. Козеллек цитирует В. Шульца, согласно которому интерес к истории повышается прямо пропорционально действительному стремлению её созидать. К. Маркс в этом вопросе был менее радикальным<sup>1</sup>, откладывая «свободное» творение истории, власть над историей в неопределённое будущее.

Р. Козеллек противопоставляет такому оптимизму тезис, состоящий в том, что «неотъемлемое свойство истории в том и состоит, что человеческое предвидение, человеческие планы и их осуществление с течением временем всегда расходятся... «история как таковая» совершается с предрешенной неполнотой, и потому будущее ее остается открытым. Во всяком случае, таков урок всей предшествующей истории, и всякий, кто утверждает обратное, должен взять на себя бремя доказывания»<sup>2</sup>. История, согласно автору, и существует благодаря этому зазору. К. Маркс ограничил возможность субъективного делания истории всегда объективно наличными предпосылками, условиями, сводя его только к политике<sup>3</sup>. Способность вершить исто-

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 20. М., 1961. С. 295.

<sup>2</sup> Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей //Отечественные записки. №5(19). 2005.

<sup>3</sup> Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта //Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 8. М., 1955. С. 119.

рию по своему усмотрению отрицал и О. Бисмарк, воздавая должное лишь политике<sup>1</sup>. Р. Козеллек определяет границы, до которых может распространяться волевое участие человека в делании истории. «В ходе истории всегда происходит (in der Geschichte geschieht) нечто большее либо меньшее, чем то, что было заложено в предпосылках. Это «больше» или «меньше» зависит от людей – хотя бы они того или нет. Но сами предпосылки от наших усилий практически не меняются, а если и меняются, то столь медленно и на столь долгий срок, что людям не удастся непосредственно управлять или распоряжаться ими»<sup>2</sup>.

Я. Ассманн в работе «Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности»<sup>3</sup> попытался обобщить предикаты коллективной памяти. Мысль о том, что коллективная память создается определенной социальной группой и в ее возникновении участвуют разные факторы, впервые была высказана М. Хальбваксом. Процесс интерактивной коммуникации, традиции семей, особенно аристократических, где трепетно хранят память о славных деяниях и достоинствах великих предков, памятные традиции религиозных групп, например монашеских общин и т. п. Более того, даже память отдельных людей не в полном смысле «индивидуальна», ибо всякий индивид осознает себя членом определенной группы и «вспоминает» в контексте её памяти— память группы актуализируется в индивидуальной памяти её членов.

Согласно Ассманну, коллективная память формирует культурную идентичность общества (группы): всякое сообщество представляет собой то, что оно само о себе помнит, и эта истинность обусловлена его историей, но не той, которая «была», а той, которая хранится и развивается в культурной памяти. Я. Ассманн понимает культурную память как непрерывный процесс, в котором всякая культура, всякое общество или общественная группа формирует и стабилизирует свою идентичность посредством реконструкции собственного прошлого. Она имеет «реконструктивный характер», т. е. имплицитные в ней ценностные идеи и знания связаны с актуальной для настоящего момента ситуацией в жизни группы.

<sup>1</sup> Цит. по Р.Козеллек. Обращение к делегации Йенского Университета, 20.7.1892. Bismarck und der Staat. Ausgewählte Dokumente. Hrsg. von H. Rothfels, 2. Auflage, Stuttgart, s. a., S. 86 (1. Auflage, München 1925) (Friedrichsruher Ausgabe 13, S. 468 ff).

<sup>2</sup> Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей //Отечественные записки. № 5(19). 2005.

<sup>3</sup> Assmann J. Kulturelles Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München, 2000.

Эвристически ценным, согласно автору, может быть сравнение разных «культур воспоминания», особенностей мнемотехники, фиксации свойственных этим культурам традиций, культурной памяти. (Пример: живые, мертвые и боги связаны между собой, помнят друг о друге, залог «правильного» (в масштабах космоса) течения жизни; способ возвыситься над временем, преодолеть «бренность всего сущего», и «медиум культурной памяти»). Сравнительно-исторический подход к культурам воспоминания и специфическим для них способам мнемотехники предполагает еще одну важную исследовательскую проблему: как возникает память культуры? Точнее, из каких именно форм живой памяти поколений, т. е. памяти коммуникативной, вырастает память культурная.

Протоформой всякой культуры воспоминания Я.Ассманн считает память живых о мертвых, поминовение последних. Понятие «прошлое» возникает тогда, когда осознается разница между вчера и сегодня. Смерть есть «первичный опыт» для осознания этой разницы, так что воспоминания, связанные с умершими, дают начало культуре воспоминаний. *Memoria* – «коммуникативна», поскольку имеет место в любой социальной группе, будучи способом общения и конституирования взаимоотношений группы со своими умершими членами. С другой стороны, ее можно считать разновидностью культурной памяти, поскольку она обладает устоявшимися формами объективации и требует специальных обрядов, носителей, социальных институтов. Как «ретроспективное воспоминание» *memoria* является той формой памяти, в которой «группа живет вместе со своими умершими членами, ощущает их реальное присутствие и таким образом создает картину своей целостности». Вся традиция *memoria*, объединяющая прошлое и настоящее, нацелена на будущее, на сохранение памяти

Иными словами, «история памяти» анализирует значение, которое настоящее придает событиям прошлым, т.е. релевантность события обусловлена не «историческим прошлым», а постоянно меняющимся настоящим, удерживающим в памяти самые важные факты данного события, его смысл. Культурная память, таким образом, не только объект исследования, но и форма рефлексии о самой науке, об условиях возможности научного и исторического познания и о том, какие события и процессы современности влияют на него.

Прошлое, согласно П. Рикёру, может рассматриваться в двойном значении: мнемоническом и историческом. Если память не укоренена в твердо установленных фактах, может возникнуть ситуация «страны без истории». Память оказывается забвением. Но забытым

может быть только то, следы чего ещё попадают в поле зрения. Установление самого факта забвения указывает на то, что должно быть восстановлено.

Проблема памяти для общественного сознания была в основном проблемой верности прошлому. Преступления прошлого – это оценка не историка, как профессионала, а как гражданина, поэтому можно выносит моральное осуждение и оставаться историком.

История очевидно способна выполнять корректирующую функцию в отношении памяти, она и отличается от памяти, в первую очередь, стремлением к истине. История – научный результат памяти так же, как научная рефлексия – результат обыденности рассудочного здравого смысла. История не имеет самостоятельной онтологии, а представляет собой форму, в которой мышление человека воспринимает целостность. Целью такой интерпретации реальности может быть и потребность в идентификации, и познавательный интерес, лишенный всякого практического смысла. Популярное ныне возведение в качестве субъекта-субстанции – события – порождает в современной околоисторической рефлексии так много «висящих в воздухе» конструкций, структур<sup>1</sup>, «теорий».

Горизонт интерпретации существенно меняется с появлением в новое время ориентира на исторический прогресс, который предполагает креативный характер истории и соответствующую значимость личности. При этом ни требование «правдивого рассказа о прошлом» Цицерона, ни воспитательная функция истории в античности не снимаются с повестки дня новой исторической эпистемологии. Новейшая постмодернистская интенция на бесконечную дифференциацию исторического знания, дробление предмета исторической науки от истории ментальностей до политической истории связано не столько с особенностью этой дисциплины, сколько с «рассеянием феномена человека», природа которого с лёгкой руки М. Блока стала ключевым объектом исторического интереса. Аристотелевский принцип «метод определяется природой предмета исследования» обозначил и последующую постановку исследовательских задач в антропологическом направлении.

По мнению П. Рикёра, возникла парадоксальная ситуация, состоящая в том, что историки-патриоты, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы выявлять уникальность национальной истории,

<sup>1</sup> «Характер современной истории как процесса в действительности может быть схвачен только путем объяснения событий через структуры и наоборот» Koselleck R. *Le Futur passé*, op. cit., p. 138.

объявили историю всеобщей, единой, тотальной. Но связано это было как с предметом исторического знания, так и с гносеологической потребностью в унификации познавательных процедур и попытками выявления единых регулятивных принципов «исторического суждения», с ориентацией на единство трансцендентальных способностей и, соответственно, единство телеологической способности, конституирующей историческое познание, единство практической задачи – установления космополитического «всеобщего мира». Природа основного объекта исторического познания – человека – и должна была стать камнем преткновения. Другое дело, если сам человек «распался» на множество функций, способностей, потребностей.

Согласно Р. Арону, «не существует исторической реальности, которая была бы дана в готовом виде до науки и которую следовало бы просто верно воспроизвести. Историческая реальность, будучи реальностью человеческой...»<sup>1</sup>, предполагает интерпретацию свободной человеческой деятельности. Однако сколько бы не шла речь о «людях во времени» неизменной должна оставаться ретроспективная ориентация исторического познания. Можно, конечно, видеть в прошлом приближение к ныне актуальному событию, а всё предшествующее разложить на последовательность шагов к настоящему и этим окончательно распрощаться с историческим сознанием. Прошлое предстанет уже не в своей культурно-исторической определённости, а в понятиях и проблематике современности, к которой предки не имели непосредственного отношения. Коллингвуд в «Идея истории» слишком утрирует проблему, говоря что «исторически познанное событие «продолжает жить в настоящем», даже не оговаривая того факта, что между ними огромная разница. (Нужно ли убеждать в наличии «пропасти» между прошлым событием и переживании его современной репрезентации?!)

Р. Козеллек поместил память и историю под эгиду «прошедшего будущего», как в своё время Августин подводил все модальности под «настоящее». Этим увязыванием с будущим, каким его видит автор и полагается смысл истории, который однако зависит не от историка как такового, а от гражданина, который даёт продолжение событиям прошлого. Кроме того, стремление к непрерывности исторической репрезентации, трансцендентально присущее мышлению человека вовсе не является требованием его памяти, которая вполне эффективно выдавливает из сознания на периферию значительные интервалы и события. Такие участки памяти говорят о событиях, которые не получили развития в современности, являлись «отрицательным» опытом, имеющим

<sup>1</sup> A r o n R . Introduction à la philosophie de l'histoire. Paris, Gallimard, 1938.

функциональную значимость для индивидуальной психики индивидов и имеют смысл только для педантичного выписывания хронологий, с бесконечным укорачиванием временных промежутков и воспроизведением всё новых деталей. Ориентир на будущее, крайне значимый для индивида, который согласно М. Хайдеггеру, включен в тему бытия-к-смерти, конечной временности *Dasein*, по справедливому замечанию П. Рикёра, «уместен только в событийной истории, для которой значимы решения, а также страсти... человек, как правило, лишь анонимно проходят по сцене истории». Как минимум экзистенциальные условия возможности исторического знания, рассмотренные М. Хайдеггером, должны быть соотнесены с гносеологическими и субстанциально-антропологическими условиями его возможности. Да и на уровне коллективной памяти экзистенциальные предпосылки вероятно проявляют себя по-иному.

История как научная отрасль обладает завидной привилегией – расширять коллективную память за пределы реального воспоминания, подправлять ее, критиковать, даже изобличать во лжи память определенного сообщества. Но именно на этом этапе ориентация на объективизм незаметно оказывается в сфере этики – вопрошания о справедливости. Последняя же, как известно, привлекает к себе внимание тогда, когда она уже нарушена. Мотив же памяти П. Рикёр – заботу, озабоченность прошлым – остаётся в рамках «основополагающей антропологической структуры исторического состояния». Распространённое ожидание от памяти – «хранить верность прошлому».

Историческая наука балансирует между субстанциализмом и функционализмом отношений (*Pomian K.*)<sup>1</sup>. Ни одна историческая концепция не освободилась от историософских вневременных отношений: будь то структуры, фазы, цели, смыслы. «Так не является ли задачей памяти, наученной историей, сохранить след этой многовековой спекулятивной истории и интегрировать его в свою символическую вселенную? Это было бы высшей миссией памяти – уже не до, а после истории»<sup>2</sup>

Еврейской культуре не было необходимости обращаться к историографии благодаря хранению памяти и традиций. История со множеством оснований и династических связей и даже её смысл существовали практически без историографии. Хотя секуляризованная критическая светская история ничем не отличается от европейской. Согласно

<sup>1</sup> P o m i a n K . L'histoire des structures // Le Goff L, Charter R., Revel J. (dir.) La Nouvelle Histoire, Paris, Retz CEPL, 1978, p. 528–553.

<sup>2</sup> Р и к ё р П . Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.224.

Й. Ерушалми «восприятия времени и концепции истории относятся к разным вещам»<sup>1</sup>, поэтому история идёт линейно, а праздники – циклически. Отсюда можно предположить, что историография не имеет своей основной задачей восстановление памяти, сохранение прошлого. Единственный выход – предположить в качестве объяснения версию платоновского мифа о пещере, как версии оснований гносеологии. Суть, идея исторического должна быть скрыта в отличие от его проявления (феномена, инобытия), в связи с чем и необходимо методологически выверенное познание. Но познание вовсе «не обязано» «спасать память нации».

П. Рикёр представил историографическую операцию в трёх аспектах: архив, объяснение-понимание и историческую репрезентацию и условия возможности этого дискурса. Философия истории рассматривается автором как история мира и история разума. Свою герменевтическую процедуру он назвал «исследование способов понимания, которые применяются в области знаний, имеющих объективное назначение»<sup>2</sup>. Кроме того, П. Рикёр выделил две проекции: критическую и онтологическую, т.е. анализ претензий на тотальность и истинность исторического знания и его границ, «узаконивание объективирующих операций (они относятся к сфере эпистемологии), руководящих написанием истории» и «историческое состояние сущего», «ситуацию, в которую каждый из нас всегда вовлечен». Пропедевтикой и одновременно необходимым условием обеих проекций является философская критика самой возможности «исторического разума», его необходимое место в архитектонике человеческих познавательных способностей, и критика категорий (пространство смысла), которые П. Рикёр назвал «метаисторическими понятиями». По аналогии с постановкой задачи И. Канта необходима «критика исторического суждения», которой не было у немецкого философа, а сами метаисторические категории должны обладать по той же аналогии трансцендентальным измерением.

Такой анализ категорий был предпринят Р. Козеллеком по отношению к моделям историографической операции<sup>3</sup>. Как и у И. Канта, метакатегории являются условием возможности и мыслимости исторического опыта.

<sup>1</sup> Yerushalmi Y. Zakhor. Jewish History and Jewish Memory. University of Washington Press, 1982. p. 122–123

<sup>2</sup> Рикёр П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.401.

<sup>3</sup> Термин «историография» чаще всего используется более широко, чем в узко-профессиональном лексиконе историков, как «анализ во времени методов и интерпретаций историков».

## История и социальная память в дискуссиях последнего десятилетия

Конец XX – начало XXI вв. столетия дискуссии об отношении истории и памяти не стали менее острыми. Акцент в этих дискуссиях продолжает охватывать широкий круг вопросов. Отметим наиболее востребованные позиции.

**1) Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории<sup>1</sup>** (Ryzen J. Lo(o)sing the order of history, 1999) (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти).

Включение в дискуссии историков в качестве значимого объекта памяти, по мнению Й. Рюзена, создаёт ситуацию, когда ослабевает внимание к познавательным процедурам, строгой рациональности; история всё больше интересуется символическими представлениями. Сама историческая наука теряет своё доминирующее положение в анализе прошлого. Влияние исторической памяти в определении человеческой идентичности и направлении человеческой деятельности, согласно Й. Рюзену, очевидно. Однако автор выражает вполне понятное сомнение: может ли анализ исторической памяти быть эвристичным в исторической науке, не используется ли сама отрасль исторического знания в качестве орудия борьбы за власть, в роли «служанки» идеологии с целью искусственного конструирования коллективной идентичности? Угрозу для исторической науки, согласно многим исследователям, представляет «метаисторический дискурс». Последний понимается многими как внешнее вторжение в профессиональные выводы историков людей, не имеющих к академичной дисциплине никакого отношения. Кроме того, «это очевидно, когда [дело] касается институализации многочисленных факультетов культурологии, на которых дисциплинарные границы предметов оказываются под угрозой исчезновения (по крайней мере в той мере, в какой это затрагивает междисциплинарную компетенцию студентов)»<sup>2</sup>. (Это вполне понятное опасение многих авторов невольно придаёт вполне точному понятийному статусу методологически оправданного термина «метаистория» (история исторических исследований – историография) негативный смысл, коренящийся в

<sup>1</sup> Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.8–25.

<sup>2</sup> Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.10.

этимологии: «то, что после истории», «выходящего за рамки истории», «внешнего для истории влияния», в котором этот термин будет некритически использован многими исследователями. Термин «метаистория» не искусственно подменяет термин историография, а указывает его логико-семантический статус).

Й. Рюзен использует термин «метаистория» как «традицию саморефлексии, выработки направляющей ее работу по сохранению в памяти, воспроизведению и изображению прошлого метатеории, которая старше ее статуса академической дисциплины.<sup>1</sup> Такого рода рефлексия уже имела место в традиции риторики в историографии. Она сыграла важную роль в оформлении и легитимации исторической науки как академической дисциплины со специальными требованиями к научной рациональности и соответствующей обоснованности ее интерпретаций»<sup>2</sup>. В Германии «метаистория как саморефлексия исторической науки является традицией в развитии дисциплины»<sup>3</sup><sup>4</sup>. Историография Германии стала научной дисциплиной, согласно Й. Рюзену, не на эмпирическом, а на метаисторическом уровне обоснования принципов исторической науки (Historik). Пересмотру следует подвергнуть не метаисторическую саморефлексию, а «пост-модернистскую критику модернистского способа историописания».

Главной целью дискуссий об исторической памяти автор видит в том, что «историческое мышление обретает свое место в сфере памяти и подчиняется ее ментальным процедурам, посредством которых воспроизведение и изображение (репрезентация) прошлого служат культурной ориентации человеческой жизни в настоящем. Воспроизведение прошлого является необходимым условием обеспечения человеческой жизни культурной рамкой ориентации, которая открывает будущую перспективу, основываясь на опыте прошлого»<sup>5</sup><sup>6</sup>. Из этого однако не следует, согласно Й. Рюзену, что история и исто-

рическое мышление «следуют лишь за культурными потребностями практической жизни людей... они имеют также свою собственную “логику”, которая характеризуется, главным образом, методической рациональностью в трактовке эмпирических свидетельств прошлого. Обе стороны – отношение к практическим потребностям и функциям и рациональность методического познания – следует рассматривать вместе»<sup>1</sup>. Й. Рюзен выделяет 5 принципов исторического мышления, «дисциплинарной матрицы» (Т. Кун) исторической науки. «Этими пятью принципами являются: (1) познавательные интересы, порождаемые потребностями в ориентации во временном изменении современного мира; (2) концепты значимости и перспективы временного изменения, в рамках которых прошлое приобретает свой особый облик как “история”; (3) методические правила эмпирического исследования; (4) формы репрезентации, в которых свидетельство прошлого, включенное в результате интерпретации в концепты значимости, представляется в форме повествования (нарратива); (5) и, наконец, функции культурной ориентации в виде временного направления человеческой деятельности и концепций исторической идентичности»<sup>2</sup>. Единство этих 5 принципов «достаточно для утверждения исторического мышления в качестве рационально выработанной формы исторической памяти». Принципы могут изменяться, но их системная связь остаётся постоянной благодаря смыслу («sensit-stitium»), определяющему отношение прошлого и настоящего, в рамках которого прошлое приобретает свое значение как “история”»<sup>3</sup>. При этом автор обращает внимание, что память можно понимать как историческую «только, если память выходит за пределы жизненного пространства личности или группы, к которым она относится... “Историческая” обозначает определенный элемент временной дистанции между прошлым и настоящим, которая делает сложное опосредование обоих необходимым»<sup>4</sup>.

История как наука почти всегда претендовала на рациональность, истину и объективность и в этом качестве утверждала свою практическую значимость. «Некогнитивные» элементы применялись фраг-

<sup>1</sup>См.: Blanke H.W., Fleischer D., Rysen J. Theory of History in Historical Lectures: The German Tradition of Historik. 1750–1900// History and Theory. 1984. Vol.23. P.331–356.

<sup>2</sup>Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.11.

<sup>3</sup>Классическим текстом в немецкой традиции является: Droysen J.G. Historik, historisch-kritische Ausgabe. Bd. 1. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1977.

<sup>4</sup>Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.11.

<sup>5</sup>R y s e n J. Die Zukunft der Vergangenheit// idem. Zerbrechende Zeit. Iiber den Sinn der Geschichte. Cologne, 2001.

<sup>6</sup>Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.12–13.

<sup>1</sup>Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.13.

<sup>2</sup>Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.13.

<sup>3</sup>Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.14.

<sup>4</sup>Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.13.

ментарно и получили полноценную познавательную легитимность только после “лингвистического поворота”. Кроме познавательной стратегии существенными для истории как коллективной памяти стали эстетическая (подробности культурной жизни и ориентации) и политическая («обоснования и развенчания всех форм господства и управления») проекции. Этот синтез проекций делает историю, согласно автору, интегральной частью культуры. Таким образом, согласно автору, история может выступать и как самостоятельная наука, и как связующий компонент культуры. Эти два аспекта истории позволяют объяснить и её преемственность (как науки) и её постоянное «переписывание» в соответствии с социальным заказом. Тем самым смягчается противоречие между «модернизмом» и «постмодернизмом» в истории<sup>1</sup>. То же самое можно отнести к противопоставлению истории и памяти. Просто историю иногда односторонне понимают как только познавательную процедуру, игнорируя её прагматическую сторону. Устранению этого одностороннего взгляда и посвящена статья Й. Рюзена.

Опыт прошлого существенно отличается от опыта эмпирического исследования. Опыт прошлого «играет важную роль в оформлении этих интересов и потребностей». К опыту прошлого относится традиция, увлечение изменением, «даже забвение, которое, тем не менее, придает жизненность прошлому, замалчивая его». До середины XVIII в. вместо тотальной истории были локальные повествования. «Идеи всеобъемлющей внутренней связи, которую называют “история” (the history). История как тотальность изменения человека и мира во времени определяется категориями “прогресс” и “развитие”. Новый подход выражается в категориях рациональных средств познания, которое позволяет историку раскрыть силы изменения мира людей во времени и которое утверждает единство и тотальность истории... Развитие исторической науки можно описать как развитие концептуализации этого единства, называемого историей»<sup>2</sup>. Академическая дисциплина понимает под этим, пользуясь известным выражением

<sup>1</sup> См.: Rysen J. Studies in Metahistory. P.221-239; idem. Historical Studies between Modernity and Postmodernity// South African Journal of Philosophy. 1994. №13. P. 183–189.

<sup>2</sup> Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.16–17.; Rosen J. Der Teil des Ganzen – über historische Kategorien// Idem. Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurechtzufinden, Cologne, 1994. S.159–167.

Ранке, “как это действительно было”<sup>1</sup>. Историзм озабочен исторической интерпретацией, критикой источников, преобразуя эмпирическое свидетельство в историю<sup>2</sup>. Последним методологическим шагом, согласно автору, стало теоретическое обобщение<sup>3</sup>: скрытое («Анналы») или явное (марксизм). Постмодернизм отверг идею развития, генетическую связь между прошлым и настоящим, сравнивая прошлое со своенравием, упрямством ребенка (Eigensinn);<sup>4</sup> историю – с «моментальным прыжком тигра» (В. Беджамин). Повествование (narration) здесь противопоставляется объяснению,<sup>5</sup> микроистория противостоит макроистории, отдельный человек – обществу<sup>6</sup>, несколько дней – столетию, “плотное описание” (thick description)( К. Гиртц) – конструированию теории<sup>7</sup>, герменевтика – априоризму, устная история – историографии<sup>8</sup>. Историческая память (commemoration) благоволит ранее «низшим» группам, гендерный облик истории обретает женское лицо, история становится склонна к эстетизму. Воображение и политика с помощью памяти превращаются «в одну из движущих духовных сил сегодняшней жизни»<sup>9</sup>, погруженной в сугубо практические, политические задачи использования истории. «Таким образом, понимая память как источник для надежного обоснования критерия смысла, историческая наука

<sup>1</sup> Ссылка по Рюзен Й. Ranke L. Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514, 2. Aufl. (Sämtliche Werke 33/34). Leipzig, 1874. S.VII.

<sup>2</sup> Ссылка по Рюзен Й. Jaeger F., Rysen J. Geschichte des Historismus. Eine Einführung. Munich, 1992.

<sup>3</sup> R y s e n J. Theorie der Geschichte// Idem. Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Cologne, 1994.

<sup>4</sup> R a n k e L. Über die Epochen der neueren Geschichte (Aus Werk und Nachlaß. Bd. 2). Munich, 1971. S.59.; Benjamin W. Über den Begriff der Geschichte// Gesammelte Schriften. Bd.1, 2. Frankfurt am Main, 1991. S.691–704;

Льдтке А. Eigen-Sinn. Fabricalltag. Arbeitserfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus. Hamburg, 1993.

<sup>5</sup> Ссылка по Рюзен Й. Stone L. The Revival of Narrative: Reflection on a New Old History// Past and Present. 1979. No.85. P.3–24.

<sup>6</sup> Ссылка по Рюзен Й. Ginzburg C. Der Käse und die Würger. Die Welt eines Möllers um 1600. Frankfurt am Main, 1983.

<sup>7</sup> Ссылка по Рюзен Й. Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture// Idem. The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York, 1973. P. 3–30.

<sup>8</sup> Ссылка по Рюзен Й. Niethammer L. Fragen – Antworten – Fragen. Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History// «Wir kriegen jetzt andere Zeiten». Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern (Lebensgeschichte und Sozialstruktur im Ruhrgebiet 1930–1960. Bd. 3). Berlin, 1985. S.392 – 445.

<sup>9</sup> Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.22.

может принять постмодернистский акцент на эстетику и риторику как необходимый вклад в свое метатеоретическое самосознание... Однако не существует памяти, абсолютно не претендующей на правдоподобие, и эта претензия основывается на двух элементах: внесубъективном (trassubjective) элементе опыта и интерсубъективном элементе согласия. Память по сути относится к опыту. Только односторонность постмодернистской критики не позволяет увидеть эту суть. Поэтому в метаисторическом дискурсе последних десятилетий память могла приводиться как сильный аргумент в пользу безграничного субъективизма, выражавшегося в категории, обозначаемой термином “вымысел” (fiction). Этот термин должен был характеризовать онтологический статус истории как порождения памяти и репрезентации. Подчеркивая существенную связь между памятью и опытом, метаистория, тем самым, может вновь обосновать методические правила исторического исследования как особого вида изучения опыта... Порядок истории, создаваемый творческими силами человеческой мысли в процессе воспроизведения и изображения истории, возвращает историческим знаниям надежность, обоснованную опытом... Но ее правдоподобие зависит не только от ее отношения к опыту. Оно зависит так же от ее отношения к нормам и ценностям как элементам исторического смысла, разделяемым сообществом, которому она (история) адресована. В этом отношении метаистория должна отражать правила дискурса, которые создают интерсубъективное согласие, как методические элементы исторического познания. Это будет вести ее назад к модернизму, потому что модернизм можно определить как особый вид обращения к нормам и ценностям... При этом история приобретает нормативный характер, лишь с помощью которого она может выполнять свою культурную функцию<sup>1</sup>. Автор, выступая за единство методологических, системных установок истории, предлагает учитывать ошибки модернизма и критику постмодерна и не скатываться к идеологическому поглощению всей истории одной единственной онтологической историей. Согласно Й. Рюзену нужно не единство истории, а «нам нужна идея единства исторического опыта»<sup>2</sup>, чтобы не впасть в релятивизм, «мы все еще нуждаемся в исторических категориях по логическим причинам; без них мы не

<sup>1</sup> Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.23–24.

<sup>2</sup> Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.23–24.

сможем мыслить исторически»<sup>1</sup>. Выход автор видит в том, чтобы «в рамках разнообразия исторических перспектив единство истории может быть достигнуто лишь универсальностью ценностей в методическом процессе исторической интерпретации. Дело в том, что нам нужна ведущая система ценностей, универсальная система ценностей, которая утверждает различие культур...ценность, которая одновременно является как универсальной, так и обосновывающей разнонаправленность и различие. Я думаю о нормативном принципе взаимной признательности и признания различий в культуре. Это принцип можно развить в познавательную структуру, которая усилит герменевтический элемент исторического метода, и эта структура позволит реализовать новый подход к историческому опыту, который синтезирует единство человечества и временное развитие, с одной стороны, и различие и многообразие культур – с другой».<sup>2</sup>

**2) Лоран Вирт**, профессор кафедры истории и географии в Академии Шампань-Арденн, выступил в ноябре 2000 г. у знаменитого окончания «исторической оси» – мемориала – куба в Париже, известного под именем Большая Арка Дефанс (Arche de la Défense), посвященного человечеству и идеям гуманизма. В своём докладе «**История и память**»<sup>3</sup> он продолжил традицию (П. Нора, П. Рикёра) различения между историей и памятью, а также существующих между ними взаимоотношений. Трагические события и геноцид в истории XX в. всякий раз призывают обращать внимание на память поколений. Термин «память» рассматривается автором в широком смысле, как «совокупностью воспоминаний, которые «подпитывают» представления, обеспечивают сплочённость индивидов в группе или в обществе, и могут определять их настоящие действия».

Функция социальной памяти здесь равноценна биологическому инстинкту самосохранения общества как такового и его механизмов деятельности. П. Нора в своей известной книге констатировал, что «места памяти» приходят на замену социальной памяти. Но согласно его же выводам, в конце XX века во Франции произошло возвращение, появляется истинная *момент-память*.

<sup>1</sup> R y s e n J. Der Teil des Ganzen. Iber historische Karegorien// Idem. Historische Orientierung. Iber die Arbeit des GeschichtsbewuЯtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Cologne, 1994. S. 150–167.

<sup>2</sup> Р ю з е н Й. Утрачивая последовательность истории //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С.25.

<sup>3</sup> Wirt Laurent Histoire et mémoire //Bulletin de Liaison des Professeurs d’Histoire-Géographie de l’Académie de Reims. N°26, 2002.

Это выражается в том, что «средства массовой информации, политики и правосудие опережают историков... Вовлечение в реальность обеспечивает преимущество над взглядом историка, который отходит на второй план... настоящее опережает прошлое... Сегодня прошлое ознаменовывается настолько только для того, чтобы лучше отпраздновать или осудить настоящее». Традиционная память предполагала порядок и иерархию, идею нации; нынешняя становится всё более локальной памятью групп. Память по своей природе избирательна, «удерживать только то, что её укрепляет». Отсюда, группы хотят помнить только то, что им выгодно. В этом предпосылка конфликта. В отношении к такой палитре избирательных воспоминаний различных групп, в противоположность к ним, история, согласно Л. Вирту, оправданно позиционируется как «процедура истины» (Hérodote).

И хотя, согласно П. Норе, «история – это проблематичное и неполное восстановление того, чего больше нет», история всегда к истине стремится. История опирается на то, что было объективно пережито людьми и при всём субъективизме историков существенно объективна. При этом, история может быть пересмотрена, если опирается на анализ и аргументированную критику. Кроме того, «память разделена, «разорвана» между группами, история принадлежит всем и никому... В этом смысле память вызывает подозрение у истории, что не означает её игнорирование». История и память, согласно автору, «поддерживают диалектическую связь и “питают” друг друга». Взаимодействие между ними существует в двух значениях: а) «память свидетелей событий является самым *красивым* материалом истории... Как понять всю жестокость концентрационных лагерей без доказательств уцелевших?» (мысль в унисон Жаку ле Гоффу «История и память», 1988). Т.е. очевидно, что память «питает» историю. В свою очередь историки уже десятилетия изучают память, историю памяти («*les lieux de mémoire*» и др). б) Кроме того, верно и обратное: история «питает» память, «профессора истории не довольствовались применением памяти как источника, они содействовали созданию этой памяти... история может быть иногда превращена в инструмент, более или менее осознанно, при тревоге, относящейся к памяти». Однако точнее всего, история придаёт законную силу национальной памяти.

Такое гармоничное сотрудничество между историей и памятью можно только приветствовать, но оно складывается не всегда. Университетская история, образцом которой является традиция «Анналов», глобальная история, согласно Л. Вирту, не подходит для

интеграции в национальную память. Разрушает единство истории и национальной памяти и использование их в милитаристских целях, когда после Второй мировой войны (движение деколонизации) история служила для оправдания завоеваний и господства. Невозможно единство истории и памяти «в тоталитарных государствах, когда речь идёт о систематическом манипулировании коллективной памятью и подчинении историков с целью служения идеологии, убивая, кстати говоря, память и историю». Возвращение интереса к национальной памяти начало происходить только в конце XX в. Л. Вирт задаётся вопросом, связано ли это с потерей традиционных ориентиров, проблемой идентичности (Ф. Бродель «Идентичность Франции»<sup>1</sup>) или утерей непоколебимости государственной нации и подъёмом регионов? Согласно автору, «проблема состоит в том, что память может приостановить историков», как в своё время «синдром Виши» парализовал французских историков (сходная проблема осуждения «сталинизма» в России). Когда же «блокада» с исторических исследований режима Виши была снята, политика, СМИ, право стали делать выводы раньше историков. «Дебаты касательно пыток, применимых полицией и французской армией в Алжире, повторяют аналогичный процесс». «Целью памяти становится опережение истории». Автор заканчивает доклад призывом не сваливаться в крайности: «Мы много говорим о долге памяти. Не хотели ли вы лучше поговорить о долге истории и праве на память? Не лучший ли это способ пропагандировать процедуру правды, чем история?»

3) **Деннис Коллин**, доктор философии, выступил с докладом «**История или память?**» (Denis Collin Histoire ou mémoire, 2001) на открытии симпозиума «*Какая история для какой памяти?*», проходившего 31 марта 2001г. в Шатору<sup>2</sup>.

Интерес к национальной памяти, ставшей сегодня, согласно автору, «истинным категорическим императивом» («никогда больше»), связывается с ожиданиями появления или возрождение «общей культуры», общих ценностей, патриотизма и интереса к национальной идентичности. «Долгом памяти» считается удержание в сознании поколений «живых» образов ужасов и преступлений прошлого. Однако стало общим местом противопоставление истории и памяти, которые на самом деле должны быть гармоничными, взаимодопол-

<sup>1</sup> B r a u d e l F. L'Identite de la France (3 vol.). Paris: Arthaud, 1986; русский перевод: Бродель Ф. Что такое Франция? М., 1994. Т. 1–2.

<sup>2</sup> Прим. пер. – Шатору (Châteaugoux) – административный центр департамента Эндр в центральной Франции.

няющими. История возрождает то, что утеряно коллективной памятью. Это противопоставление «долга памяти» имеет скорее политическую мотивацию и должно отдельно исследоваться как политическая роль памяти.

О своём прошлом нам известно благодаря памяти, из памяти черпают материал и историки. Уже согласно Геродоту, история не только стремится сохранить от забвения события, но и стремится выяснить их причины (например, войны), т.е. преследует цели науки. При этом, «если бы мы хотели продолжить аналогию между судьбой индивидуума и судьбой человеческого общества, историю нужно было бы сравнивать не с памятью, а с психологией!»<sup>1</sup>. Наука анализирует, т.е. разделяет память.

Д. Коллин выделяет аргументы, на основании которых противопоставляются история и память. Память – субъективна (касается меня), условием существования памяти является забывание, память позволяет сохранять единство личности, сохраняет только практически используемое, всегда телеологична, всегда знает свой финал, временно соединяет картинки; история – стремится к объективности (касается других), возвращает забытое, её финал всегда интерпретируем, интересуется единством, причинной связью (вопреки П. Рикёру), законами, рациональным пониманием.

Противопоставление истории и памяти П. Нора имеет определённую коннотацию. Согласно Д. Коллину, история не уничтожает прошлое, сохраненное в памяти, как это считает П. Нора, а рационализирует его. Не существует и метапамяти (памяти памяти), а вот метаистория (история исторической науки) существует. Но это не означает «деидентификации с памятью», а говорит о зрелости истории, «когда она может составить свою собственную критику, определить условия действительности своих собственных рассуждений»<sup>2</sup>.

П. Нора точно сформулировал проблему: «является ли история или нет, выступая как дисциплина, элементом политической национальной идентичности»? Автор считает, что у К. Маркса уже были частичные ответы. Историк, согласно К. Марксу, должен стремиться понять внутреннюю логику исторических фактов, история должна изучать не только политику и идеи, но все отношения человека и природы, нужно отказаться от поисков смысла и целей истории и может быть даже «уроков истории», т.е. история не должна быть идеологи-

ей или романтической историей национального духа («*Volksgeist*»). История по К. Марксу не обладает онтологическим статусом, это номинальное понятие, за которым лишь стоит смена поколений людей, действующих во времени.

Отношение между историей и памятью предполагает существование «коллективной памяти» (М. Хальбвакс, П. Рикёр). Национальное своеобразие не начинается ни с какого события, Франция не начинается с династии Капетингов или франкского завоевания, «если быть кратким – она не прекращает начинаться!» Политики часто считают, «что память является средством против разрушения социальной связи, с которым мы сталкиваемся». «Для «гражданского» формирования ученика, не является ли намного важнее научиться «смещать центр» за горизонт, расположенный близко к «общественному мнению», чтобы наконец научиться размышлять... развивать критическую рациональность?»<sup>1</sup> Автор предлагает не «дорисовывать» и без того страшный образ фашизма, а подумать о немецкой революции 1918–1919г. и основаниях её перевоплощения через полтора десятилетия в нацизм, как жестокий опыт Первой мировой войны превратил XX век в «век лагерей». «Мы хотим воспитать граждан. Но мы только приучаем школьников к добрым чувствам, неглубоким, в то время как в силу привычки к объективности формируется свободная мысль, а значит – критическая мысль... Если обучение истории имеет смысл и является в высшей степени создающим, то только при условии радикального избавления от социальных требований коллективной памяти и «современных» опасений. Что означает – отказ от желания придумывать коллективную память. Лучший способ стать гражданином – изучать правление Луи XIV или мидийские войны, чем снова рассматривать ужасы века... Сегодня повсюду спрашивают об изучении истории религий (хотя религии обычно включены в программу истории) – не находимся ли мы на пути восстановления памяти, используемой от имени «общей культуры», не находимся ли мы на пути подготовки настоящей бомбы против исторической науки?»<sup>2</sup>.

**4) Франсуа Артог** в книге «**Типы исторического мышления (режимы историчности): презентизм и формы восприятия времени**», 2003 (*Régimes d'historicité. Presentisme et Experiences du temps*)<sup>3</sup> (Реферативный обзор книги Ф. Артог представлен В. Миль-

<sup>1</sup> Collin D. Histoire ou mémoire?, 2001 // Philosophie et politique, Site personnel de Denis COLLIN. 2005.

<sup>2</sup> Collin D. Histoire ou mémoire?, 2001 // Philosophie et politique, Site personnel de Denis COLLIN. 2005.

<sup>3</sup> Hartog Fr. Régimes d'historicité. Presentisme et Experiences du temps. Paris: Seuil, 2003.

<sup>1</sup> Collin D. Histoire ou mémoire?, 2001 // Philosophie et politique, Site personnel de Denis COLLIN. 2005.

<sup>2</sup> Collin D. Histoire ou mémoire?, 2001 // Philosophie et politique, Site personnel de Denis COLLIN. 2005.

чиной<sup>1)</sup> пытается объяснить «увлечение историков памятью», возникшее на волне глобализации, специфическим отношением ко времени, возникшим в последней четверти XX в., которое он называет «презентизмом». Презентизм (культ настоящего, конец XX в.), как форма восприятия времени и тип исторического мышления, рассматривается им в отношении к футуризму (культ будущего, XVII – начало XX в.) и пассаизму (культ мифологического прошлого, античные «общества без истории» К. Лефор, «героическая история» М. Салинз<sup>2)</sup>, к которой относится концепция истории-наставницы, ценится не единичное, а образцовое). Если принять такое различие в восприятии времени, то противоречивыми оказываются попытки вернуть «героическое» время прошлого с идеей «истории-наставницы», в эпоху устремленности к будущему или настоящему. Выходом из этого противоречия могло стать нахождение нормативного образа не в прошлом, а в будущем (политическая система США как прообраз будущего всей Европы у А. де Токвиля). Оптимистический прогрессизм стратегии будущего сменился пессимизмом, разочарованием в идеалах и утверждением презентизма.

Интерес к памяти, согласно Ф. Артог, вовсе не говорит о возвращении ориентиров прошлого. Скорее, это защитная реакция общества, которому угрожает полная потеря ориентиров идентичности. Основной темпоральной стратегией презентизма становится настоящее, для которого прошлое и будущее выступают как средства. (Ориентация на настоящее в средние века рассматривается автором лишь как внешне сходный аналог. «Время христианина – это время ожидания, это настоящее, наполненное чаянием конца»). «Понятия «память», «наследие» и «юбилейные торжества» (commemoration) становятся в 80-е годы ключевыми. С их помощью нация, исповедующая презентизм, пытается освятить собственную сегодняшнюю идентичность»<sup>3)</sup>. «Создатели новых течений в историографии XX века, таких как история ментальностей или историческая антропология, также предпочитали иметь дело с явлениями, удаленными от них самих не только в пространстве, но и во времени. Сближению истории и памяти способствовало воскрешение Пьером

<sup>1</sup> М и л ь ч и н а В . Ф . Артог Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени // Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

<sup>2</sup> С а л и н з М . Острова, где живет история (Islands of history, 1985).

<sup>3</sup> М и л ь ч и н а В . Ф . Артог Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени // Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

Нора и его единомышленниками понятия «коллективная память», введенного в 1920-е годы Морисом Хальбваксом... Нора, напротив, задумал примирить память и историю, он решил превратить изучение коллективной памяти в своеобразный аналог истории ментальностей, предназначенный для исследования Новейшего времени. Нора предложил изучать топографические, монументальные, символические, функциональные «места», с которыми общество связывает свои воспоминания, и создавать историю этих своеобразных «мемориалов»... «места», о которых говорит Нора, данностью не являются, они конструируются и постоянно реконструируются по мере того, как развивается общество, и порождают самые разнообразные реакции, которые также подлежат изучению. «Памятные места», собственно говоря, достойны исследования только в том случае, когда они по-прежнему живы и действенны... Формой реакции на доминировавшие в XIX веке национальные истории стало рождение в XX веке историй социальных (в своей первой лекции в Страсбургском университете в 1919 году Люсьен Февр специально подчеркнул, что не желает становиться «миссионером национального Евангелия»). Национальные истории писались с точки зрения и во имя будущего. Социальные истории их дополняли и опровергали. Наконец, в исторических исследованиях конца XX века национальные истории сами сделались предметом исторического исследования. В «Памятных местах» Пьера Нора и его единомышленников рассказ о создании этих историй, а также о формировании других национальных символов ведется с точки зрения и в интересах настоящего, ведется ради того, чтобы лучше понять и объяснить это настоящее... совсем молодые города, которые не успели нажить никакого наследия, создают его специально, обустроивают площади и площадки, призванные придать городу индивидуальность, обеспечить его «идентичностью». Кроме того, идет активный процесс превращения памятника в место памяти, в мемориал, в котором память должна оживать. Музеи, которые можно только осматривать, превращаются в музеи, где можно жить, вступая с их экспонатами в непосредственный и активный контакт. Это и есть тот процесс, который Артог называет «презентистским использованием прошлого»... Современный презентизм предполагает, что настоящее должно быть детерминировано только им самим и что настоящее определяет, детерминирует как прошлое (что именно мы вспоминаем и сохраняем), так и будущее (что именно мы строим и какую участь готовим человечеству). Таков, заключа-

ет Артог, сегодняшний презентизм – восприятие времени людьми, ответственными за прошлое и будущее»<sup>1</sup>.

В переведенной главе «**Порядок времени, режимы историчности**»<sup>2</sup> из книги Ф. Артог «Типы исторического мышления (режимы историчности): презентизм и формы восприятия времени», 2003 (*Régimes d'historicité. Presentisme et Experiences du temps*) автор относит разрыв в восприятии времени, «щели между прошлым и будущим», «где мы осознаем интервал во времени, полностью определенный тем, чего уже нет, и тем, чего еще нет» (Арендт),<sup>3</sup> «утрату связи времён» к периоду между Первой и Второй мировыми войнами. Историк вынужден в этой ситуации «объяснить «миру мир», ответить на вопросы, которые задает себе современный человек... Тон разговора о прошлом задает настоящее... История является способом организации прошлого с целью помешать ему слишком сильно давить на плечи людей[...] Организовать прошлое в зависимости от настоящего – вот что можно было бы назвать социальной функцией истории»<sup>4</sup>. Эту ситуацию, когда общества потребления распространяются вместе со значимостью категории настоящего времени, Ф. Артог назвал «презентизмом». Пьер Нора поставил диагноз такому французскому обществу – «места памяти» – присутствие прошлого в настоящем.

Начало дискуссии об истории и памяти Ф. Артог связывает и с публикацией в 1982 г. книги «Захор» американского историка Й. Йерушалми. Артог ставит проблему: «Почему в то время как иудаизм из века в век всегда в сильнейшей степени был пропитан духом истории, сама историография играет у евреев в лучшем случае вспомогательную роль, а чаще всего – совсем никакой? В переживании испытаний, которые выпали на долю евреев, всегда основополагающей была память о прошлом, но почему ее первыми хранителями никогда не были историки?»<sup>5</sup>. Дискуссия очень быстро охватила все регионы и социальные группы, кроме Израиля. «Память, во всяком

<sup>1</sup> Мильчина В. Ф. Артог Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени // Отечественные записки. № 5(19). 2004.

<sup>2</sup> Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // «Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59).

<sup>3</sup> Arendt H. La Crise de la culture. Paris: Gallimard, 1972. P.20.

<sup>4</sup> Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // «Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59); Idem. “Vers une autre histoire” // Ibid. P. 437, 438.

<sup>5</sup> Yerushalmi Y. H. Zakhor. Histoire juive et mémoire juive. Paris: La Découverte, 1984. P. 12; Goldberg S.A. La Clepsydre. Essai sur la pluralité des temps dans le judaïsme. Paris: Albin Michel, 2000. P.52–55.

случае, стала самым емким термином – *метаисторической*, иногда религиозной категорией. Возникла даже определенная претензия памяти на доминирование при разговоре о прошлом: в поединке между памятью и историей преимущество было отдано первой и ее свидетелю, ставшему центральным действующим лицом на нашей общественной сцене<sup>1</sup>. Мы стали размышлять о забвении, сформулировали понятие «долг памяти», стали активно к нему апеллировать, клеймя «злоупотребления памятью» или невнимание к культурному наследию<sup>2»3</sup>.

Ф. Артог не пытается предложить универсальный способ объяснения современных исторических явлений. «Исторические феномены я пытаюсь обойти с фланга, рассматривая темпоральности, которые структурируют и задают их. Какой порядок времени их поддерживает? Носителями или симптомами какого порядка они являются? Признаками какого «кризиса» времени?»<sup>4</sup> Эту процедуру автор назвал «историей истории». Используя в качестве рабочей категории термин «режимы историчности» или, как его часто переводят, «типы исторического мышления». Это понятие одинаково применимо в диалоге между антропологией и историей (М. Салинз и Р. Козеллек), начатом ещё в 1949 году К. Леви-Строссом. ««Режим историчности»... в узком смысле, это способ, с помощью которого общество трактует свое прошлое и рассуждает о нем. В широком смысле, режим историчности служит для обозначения “модальности авторефлексии человеческого сообщества”»<sup>5</sup>. Режимы историчности, согласно Ф. Артогу, – это «разнообразие форм согласования прошлого, будущего и настоящего». Эта тема интересовала всех, за-

<sup>1</sup> Dulong R. Le Témoin oculaire. Les condition sociales de l'attestation personnelle. Paris: l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1998; Wiewiorka A. L'Ere du témoin. Paris: Plon, 1998; Hartog Fr. Lé témoin et l'historien // Gradhiva. 2000. № 27. P. 1–14.

<sup>2</sup> Klein K.L. On the Emergence of Memory in Historical Discourse // Representations. 2000. № 69. P. 127–150. Поповоду историка, одновременно «замутняющего» и «проясняющего» память, см.: Laborit P. Les Français des années troubles. Paris: Desclée de Brouwer, 2001. P. 53–71; Dobin R. La Mémoire saturée. Paris: Stock, 2003.

<sup>3</sup> Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // «Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59).

<sup>4</sup> Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // «Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59).

<sup>5</sup> Цит. по Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // «Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59); L'Etat des lieux en science sociales. Institut français de Bucarest. Paris: L'Harmattan, 1993. P.29 (см. Описание обзора в: Detienne M. Comparer l'incomparable. Paris: Seuil, 2000. P. 61–80).

давались ли они целью научиться понимать историю, управлять ею, предвидеть, приближаться к объективному совершенству или субъективно усовершенствоваться. Философии истории сменились пессимизмом в отношении цивилизаций, поисками новых (длительностей) темпоральностей (Ф. Бродель). «Историческая наука представляется «диалектикой длительности». Образ прогрессивного вектора истории заменил образ игрока, делающего множество ставок. Отсюда и итоговой тезис: «Главное – это *дифференциал* культур. В этом и заключается их «настоящий культурный вклад» в тысячелетнюю историю человечества»<sup>1</sup>. Понятие «режима историчности», с точки зрения автора, и дает знание о множественности режимов социального времени, открывателем которых был Ф. Бродель. Наиболее эффективно это понятие в периоды кризисов, когда вскрывается «разрыв» между прошлым, настоящим и будущим. Ф. Артог предполагает, что это понятие позволит зафиксировать выход за пределы метафизической установки нового времени. «С режимом историчности мы, таким образом, касаемся одного из условий возможности производства историй: в зависимости от взаимоотношений настоящего, прошлого и будущего, некоторые типы историй возможны, а другие – нет»<sup>2</sup>. В целом концепция Ф. Артог и есть попытка взглянуть на философскую метафизическую установку через отношение к истории.

**5) Харальд Вельцер (Harald Welzer)**, директор немецкого Центра междисциплинарного исследования памяти в г. Эссен в статье «**История, память и современность прошлого**»<sup>3</sup> (2004) рассматривает память как арену политической борьбы, как внутренней, так и внешней. Нарративы памяти (Холокост) выходят за рамки национальных, создаваемые официальной школой образы памяти расходятся с личными воспоминаниями участников событий в приоритетах и оценках. Личные «воспоминания о важнейших исторических событиях представляют собой своего рода коллажи, которые формируются из множества источников, подвергаются изменениям при коммуникации, но сохраняют свою эмоциональную значимость»<sup>4</sup>, существенное значение имеет и возрастная психология личного запоминания. История и па-

<sup>1</sup> Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // «Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59).

<sup>2</sup> Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // «Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59)

<sup>3</sup> Вельцер Х. История, память и современность прошлого // «Неприкосновенный запас», 2005, № 2–3 (40–41).

<sup>4</sup> Вельцер Х. История, память и современность прошлого // «Неприкосновенный запас», 2005, № 2–3 (40–41).

мать, согласно автору, непосредственно не связаны, «две совершенно разные вещи... Если историография ориентирована на факты и на истину, вырабатывает изоцированные техники интерпретации источников, то память всегда связана с конкретной идентичностью: человек вспоминает то, что важно ему самому, что помогает ему справиться с сегодняшней жизнью»<sup>1</sup>. Память функциональна, служит опыту с целью выживания и потому безразлична к «истине» или «лжи» воспоминаний, связана не столько с прошлым, сколько с настоящим, «память абсолютно оппортунистична: она берет то, что ей полезно, и отбрасывает то, что представляется ей лишним или неприятным... у рассказов о злодеях нет будущего, потому что, как выясняется со временем, они слишком сильно подрывают представления коллективов и индивидов о самих себе... не в последнюю очередь именно пример Холокоста показывает: для того чтобы пострадавшие общества могли восстановиться, им может быть полезнее сперва забыть катастрофическое событие, а только потом, после длительной фазы консолидации (которая обычно занимает, видимо, около тридцати лет), снова сделать его предметом воспоминания и поминовения»<sup>2</sup>.

«Воспоминания об исторических катастрофах привязаны не к объективным историческим фактам, а к конкретным идентичностям. Поэтому для формирования идентичностей исторические события порой извлекаются из нафталина, а то и просто выдумываются»<sup>3</sup>. Воспоминания, согласно Х. Вельцеру, не диктуются обществу, а выбираются им как имеющие смысл для настоящего. Ни одна наука не сможет предсказать, на какой период времени растянется влияние опыта исторического события на сознание общества. «Оно продолжает жить на уровне чувств, на уровне самосознания, на уровне политических ориентаций, только не как история с ее фактичностью, а как продукт интерпретаций, наделяющих его смыслами... Поэтому в прошлом на самом деле меньше прошедшего, чем многим кажется. И только этим обстоятельством объясняется то, что по поводу того или иного прошлого происходит столько конкурентной борьбы, конфликтов и боев. Если бы прошлое было всего лишь историей, оно было бы заморожено»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Вельцер Х. История, память и современность прошлого // «Неприкосновенный запас», 2005, № 2–3 (40–41).

<sup>2</sup> Вельцер Х. История, память и современность прошлого // «Неприкосновенный запас», 2005, № 2–3 (40–41).

<sup>3</sup> Вельцер Х. История, память и современность прошлого // «Неприкосновенный запас», 2005, № 2–3 (40–41).

<sup>4</sup> Вельцер Х. История, память и современность прошлого // «Неприкосновенный запас», 2005, № 2–3 (40–41).

## История и социальная память в классической историко-философской традиции

Греки, согласно П. Рикёру, различали *mnêmê* и *anamnesis*, пассивное воспоминание и активное вспоминание или припоминание (действие поиска), «вторичное воспоминание» (*remémoration*). У Аристотеля выделяется память-чувство (простое присутствие воспоминания) и вспоминания-действия (вызывание воспоминания с усилием), их объединяет то, что «память сопряжена с прошлым» (449b 15), память существует тогда, когда «протекает время» (449b 26), «вместе со временем». Для Аристотеля различие «предыдущего» и «последующего» есть отличительная черта времени. Значимость приобретает метод вызывания в памяти. Различие между памятью и воображением у Аристотеля состоит в наличии у памяти обязательной временной дистанции.

Память у Августина приобретает образ кладовой, хранилища воспоминаний, знаний, интериорного пространства – «огромные палаты памяти». «Кроме того, память о «вещах» и память о себе самом совпадают: здесь я сливаюсь с самим собой, я вспоминаю о себе, о том, что я сделал, когда и где я это сделал, какие чувства я испытывал, делая это. Да, велика сила памяти, велика до того, что «я помню, что я помнил» (X, XIII, 20). Короче говоря, «ум и есть сама память» (см.: X, XIV, 21).

В новоевропейской традиции, идущей от Платона, «память, сведенная к вспоминанию, идет по следам воображения», образа, отпечатка. Историческая наука в этой логике – идёт по «следам». «История, согласно Марку Блоку, считает себя наукой, создаваемой по следам». Однако воображение нацелено на вымышленное, а память – на предшествующее реальное. И ещё требует прояснение образ-воспоминание. Вместе с тем в сложном вспоминании различается и акт, и нетождественность, и привнесение нового субъектом – изображение.

Сознание у Д. Локка – это уже не совокупность мыслительных операций Р. Декарта, а самость – способность оставаться тем же самым во все времена существования, а не другим, единство, определяющее личность, основа самоидентичности и в конечном итоге – память. У Локка все то, что обуславливает непрочность идентичности, дает, таким образом, повод для манипуляций памятью, прежде всего при помощи идеологии. Но кризис идентичности может нести и положительные последствия – возможность «нового трезвого присвоения прошлого с грузом его травмирующего опыта» (П. Рикёр).

Коллективная память, очевидно, является истоком «исторической идентичности» человеческого сообщества.

Тема избыточности исторической культуры, исторического образования (не истории как науки, услуги которой иногда прагматически необходимы для жизни) у Ф. Ницше<sup>1</sup> согласуется с классическим ориентиром на надисторическое (вечное: философия, искусство, религия).

У Гуссерля память – это и способность, и осуществление: существенно различие между *ноэзисом*, являющимся воскрешением в памяти, и *ноэмой*, представляющей собой воспоминание. Само же воспоминание распадается на акты: непосредственное воспоминание – ретенция (удержание), и вторичное воспоминание – (припоминание), или репродукция. Удержание еще не является воображением, оно воспринимает и длится – это образный хвост кометы, пока не становится актуальным восприятием (ядром кометы). Презентация становится репрезентацией, воспроизведением, длящимся удержанием образа, вторичным воспоминанием, но уже не является восприятием. Обнаруживается при этом, что прошлое уже не являлось непосредственно частью настоящего, объект остался в прошлом, и потому не воспроизводится механически. Именно с этим видом памяти и имеет дело наука история. Различие репрезентации, воображения теперь только в модусах: «воображением полагающим и воображением ирреализующим, единственной связью между которыми является отсутствие»<sup>2</sup>. И только одно из этих воображений является воспроизведением прошлого – узнаваемое – отождествление «актуального воспоминания и первичного впечатления, которое имеется в виду как иное... узанное прошлое стремится выдать себя за воспринятое прошлое»<sup>3</sup>. Рефлексия исторического сознания ликвидирует видимость и помещает объект в истекшее прошлое. У Гуссерля «из интенциональности *ad extra*, имеющей место в восприятии, превращается в интенциональность *ad intra*, продольную интенциональность, свойственную движению памяти по оси временности. Эта продольная интенциональность и есть само внутреннее сознание времени».

<sup>1</sup> Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М., 1990. С.160.

<sup>2</sup> Рикёр П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.62.

<sup>3</sup> Рикёр П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.66.

Часто воспоминание улавливается только как момент узнавания. «...вспомненные «вещи» тесно ассоциируются с местами... Именно на этом изначальном уровне конституируется феномен «мест памяти» – до того, как они станут отсылкой для исторического познания. Эти места памяти выступают прежде всего в качестве *reminders* – опорных пунктов воспоминания, поочередно служащих слабеющей памяти, борьбе против забывания и даже в качестве безмолвной замены утраченной памяти. Места «живут», как живут записи, мемуары, возможно, как документы, в то время как воспоминания, переданные только словесно, парят, повинаясь воле слов. Именно благодаря этой близости, существующей между воспоминаниями и местами, могло сложиться нечто вроде *ars memoriae* как метода»<sup>1</sup>. Однако место, согласно Е. Кейси, незначительно для «вещи», которая его занимает.

П. Рикёр выделяет 3 традиции: а) традиция интерпретации, где запоминание превалирует над припоминанием прошлого; б) ассоцианизм нового времени, опирающийся на Аристотеля; в) динамизм памяти у А. Бергсона – «усилия по вызыванию памяти», «цепочки связей».

### А) А. Бергсон о памяти и истории

А. Бергсон подошёл к исследованию памяти как активно созидательному, преобразующему началу, не сводимому только к фиксации, удержанию прошедшего. Согласно предисловию автора к работе 1896 года «**Материя и память. Очерк взаимосвязи тела и духа**», память «затрагивает несколько уровней сознания, каждый из которых представляет собой одну из промежуточных ступеней между отвлеченным созерцанием и действием... два рода памяти... Первая регистрирует в виде образов-воспоминаний все события нашей ежедневной жизни по мере того, как они развертываются; она не пропускает ни одной подробности и оставляет каждому факту, каждому жесту его место и его время. Без задней мысли о пользе или практической применимости она сохраняет прошедшее только в силу естественной необходимости. При ее помощи становится возможным разумное или, скорее, интеллектуальное узнавание уже пережитого восприятия; к ней мы прибегаем всякий раз, когда поднимаемся

<sup>1</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.68.

по склону нашей прошлой жизни, чтобы найти там какой-то определенный образ... Память второго рода – та, которую обыкновенно изучают психологи, ... всегда устремленную на действие, расположенную в настоящем и имеющую в виду лишь будущее... – есть скорее привычка, освященная памятью, чем сама память... В этих двух видах памяти, из которых одна *воображает*, а другая *повторяет*, вторая может заменять первую и часто даже создавать ее иллюзию... память второго рода – активная, или двигательная – должна будет постоянно препятствовать первой, или, по крайней мере, брать из нее лишь то, что может прояснить или полезно дополнить наличную ситуацию... Единственная регулярная и несомненная помощь, которую вторая форма памяти может оказать первой, заключается в том, что она сообщается с первой и предоставляет ей образы того, что предшествовало или следовало за ситуациями, аналогичными настоящей, и в итоге проясняет ее выбор»<sup>1</sup>.

Это различие собственно спонтанной памяти и механизма повторения становится ещё более существенным в акте узнавания, в котором память сопровождается вниманием, в то время как механизм во внимании не нуждается. Усилие внимания, в свою очередь, «приводит к воссозданию не только увиденного предмета, но и все более обширных систем, с которыми он может быть связан»<sup>2</sup>. Чем более улюблено внимание, тем больше образов присовокупляется к воспоминанию.

Далее, согласно А. Бергсону, не существует «резкого разделения между психической деятельностью и ее материальным выражением» и «наш интеллект неуклонно стремится материализовать свои понятия». Образы-воспоминания «все более стремятся слиться с восприятием, которое их втягивает в себя или приспособливает к своим рамкам. Таким образом, в мозгу нет и не может быть области, где застывают и накапливаются воспоминания». Воспоминание тем ярче, чем более оно воспринимается. Одно является деятельной реализацией другого. «Целостное восприятие определяется и обособляется только благодаря своему слиянию с образом-воспоминанием, который мы проецируем перед ним. Без этого не было бы внимания, а без внимания возможно только пассивное сопоставление ощущений, сопровождаемых машинальной реакцией. С другой стороны,

<sup>1</sup> Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159–317. – С. 160, 207–210.

<sup>2</sup> Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159–317. – С. 224–225.

... и сам образ-воспоминание, сведенный к состоянию чистого воспоминания, оставался бы бездейственным. Будучи виртуальным, воспоминание это может стать актуальным только благодаря его извлечению восприятием».<sup>1</sup> Простая схема этого процесса у Бергсона выглядит так: «виртуальный образ развивается в направлении виртуального ощущения, а виртуальное ощущение – в направлении реального движения: это движение, реализуясь, осуществляет сразу и ощущение, естественным продолжением которого оно является, и образ, стремящийся соединиться с ощущением»<sup>2</sup>.

Представленная схема углубляется автором в объяснении того, «как прошлое, актуализуясь в непрерывной прогрессии, стремится отвоевать свое утраченное влияние». А. Бергсон выделил «чистое воспоминание, воспоминание-образ и восприятие, из которых, однако, ни один в действительности не существует изолированно»<sup>3</sup>. Процесс восприятия истории, таким образом, состоит из трёх взаимозависимых актов. Сначала мы «отрываемся от настоящего и перемещаемся сначала в прошлое вообще, потом в какой-то определенный его регион... Но воспоминание все еще остается в виртуальном состоянии: мы пока только приготавливаемся таким образом к его восприятию, занимая соответствующую установку... из виртуального состояния оно переходит в актуальное, и по мере того как обрисовываются его контуры и окрашивается его поверхность, оно стремится уподобиться восприятию. Но своими нижними корнями оно остается связанным с прошлым, и мы никогда не приняли бы его за воспоминание, если бы на нем не оставалось следов его изначальной виртуальности и если бы, будучи в настоящем, оно все же не было бы чем-то выходящим за пределы настоящего... На самом же деле мы никогда не достигли бы прошлого, если бы сразу не были в нем расположены. Прошое, по сути своей виртуальное, может быть воспринято нами как прошое, только если мы проследим и освоим то движение, посредством которого оно развивается в образ настоящего... воспоминание, по мере того как оно актуализуется, стремится ожить в образе, но обратное неверно... прогресс воспоминания и состоит в его материализации... воспоминание по мере своей

<sup>1</sup> Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159–317. – С. 240.

<sup>2</sup> Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159–317. – С. 242.

<sup>3</sup> Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159–317. – С. 244.

актуализации трансформируется... Из моего прошлого только то становится образом, а следовательно, и ощущением (по крайней мере, рождающимся), что может содействовать этому наступающему действию, вписаться в эту установку, словом, стать полезным: но как только прошлое становится образом, оно перестает быть чистым воспоминанием и вбирает в себя определенную часть моего настоящего. Воспоминание, актуализированное в образе, глубоко отличается, следовательно, от чистого воспоминания. Образ – это наличное состояние и причастен прошлому только опосредованно – через воспоминание, из которого он вышел... Мои актуальные ощущения локализованы на определенных участках поверхности моего тела, чистое же воспоминание, наоборот, никакой участок тела не затрагивает. Материализуясь, оно, без сомнения, породит ощущения, но в этот самый момент оно перестанет быть воспоминанием и станет наличным, актуально переживаемым, и я могу восстановить его в качестве воспоминания, только вновь обратившись к тому действию, посредством которого я вызвал его, тогда бывшее виртуальным, из глубин моего прошлого. Оно стало актуальным именно потому, что я сделал его активным, превратив в ощущение, способное вызвать движения»<sup>1</sup>. Таким образом, воспоминание это процесс становления реальным восприятием, как и реальность – это не то, что есть, а то, что становится. «Другими словами, именно от настоящего исходит призыв, на который отвечает воспоминание, но именно от сенсомоторных элементов наличного действия воспоминание заимствует дающее жизнь тепло... Кажущееся уменьшение памяти, по мере того, как развиваются умственные способности, зависит, таким образом, от увеличивающейся взаимосвязи воспоминаний с действиями... необычная способность спонтанной памяти наблюдается у людей, умственное развитие которых не превышает развития ребенка.»<sup>2</sup> Получается, что историю забывают, когда из нее нечего взять для современной практики. «Наше прошлое обычно целиком от нас скрыто, будучи вытеснено потребностями актуального действия, то оно находит в себе силы для перехода через порог сознания во всех тех случаях, когда мы перестаем интересоваться эффективным действием, чтобы так или иначе перенестись в жизнь грез»<sup>3</sup>. Память в самом общем виде оказывается «син-

<sup>1</sup> Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159–317. – С. 245–248.

<sup>2</sup> Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159–317. – С. 257.

<sup>3</sup> Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159–317. – С. 258.

тезом прошлого и настоящего, имеющим в виду будущее». Недостаток психологического восприятия памяти А. Бергсон видит в том, что она во всём хочет видеть законченное, не становление. На самом же деле, «настоящее есть прежде всего состояние нашего тела. Наше прошлое же, напротив, – это то, что уже не действует, но могло бы действовать, – то, что будет действовать, вписавшись в наличное чувственное восприятие и заимствовав у него его жизненность, Правда, в тот момент, когда воспоминание, обретая таким образом активность, актуализируется, оно уже перестает быть воспоминанием и снова становится восприятием»<sup>1</sup>.

Таким образом, проблема памяти для Бергсона связана с восприятием материальной и духовной реальности. Благодаря памяти происходит пересечение прошлого и настоящего, что приводит к возникновению механизмов восприятия и представления реальности. Восприятие, если оно является чистым познанием, дает возможность увидеть ситуацию только в статичном и упорядоченном состоянии. Восприятие, в силу его возможной активности, не сводимо к простому созерцанию материальных объектов. Конечная цель восприятия из всей совокупности образов – отобрать те, которые могут подвергнуться влиянию, преломиться под воздействием нашего вмешательства. Каждое наличное восприятие окружающей действительности соотносится с воспоминанием, с предыдущим опытом, выстраивая спектр предшествующих ощущений и переживаний. Восприятие выступает в качестве побудительной причины для реконструкции воспоминания с целью овеществления представлений. Из всего массива памяти только воспоминания способные актуализироваться и быть полезными для наличного, не уходят в тень забвения, они каждое мгновение подвергаются влиянию сознания. Понимаемое таким образом воспоминание, Бергсон называет «рождающимся восприятием». В данном случае уместно говорить не о влиянии либо воздействии прошлого на настоящее, а об их взаимосодействии. Именно при помощи взаимосодействия появляется действие, направленное на решение стоящих задач.

Являясь катализатором для появления ощущений, воспоминание теряет свои свойства, преобразуясь в наличное. В своих умозаключениях Бергсон преодолевает рассудочное видение проблемы воспоминания, принятой в ассоциативной психологии, согласно которой наиболее яркое психическое переживание оказывает детермини-

стическое воздействие на наши последующие состояния. Философ постулирует, что разница между восприятием и воспоминанием существует не по степени интенсивности, а по природе. В противоположность этому для любого объекта быть и быть воспринятым подразумевает различие между собой по степени интенсивности, а не по природе. Иными словами природу нашего восприятия определяет степень воздействия, которое мы можем оказать на объект. Таким образом, восприятие, по Бергсону, обладает свойствами избирательности, преобразования, активности.

Человек, пренебрегающий прошлым – импульсивен; живущий исключительно прошлым – мечтателен. Для обнаружения практической значимости воспоминаний Бергсон предлагает найти золотую середину между этими двумя состояниями. «Усилие памяти» сводится к ассимиляции прошлых моментов в непосредственной реальности, что порождает наше будущее. Происходит селекция воспоминаний, поиск однозначных соответствий прошлого и наличного, перерождение «чистого воспоминания» в действие.

Работа воспоминания базируется на каталогизации предыдущего опыта, его актуализации и активности в настоящем при помощи соприкосновения с восприятием наличной ситуации, с её ощущением.

Бергсон не ограничивается сведением взаимоотношений воспоминания и настоящего момента аналогией, поиском идентичности. Воспоминание появляется не благодаря ассоциативному соотношению, наличной действительности и воспоминания, а возникает как результат цельного единства восприятия.

Философ в своих оценочных суждениях идет не от восприятия к воспоминанию, а от воспоминания к восприятию. При этом все пласты прошлого в памяти взаимодействуют одновременно. Оценивать прошлое как однообразную последовательность событий для Бергсона неприемлемо. Идея последовательности работает более продуктивно относительно наличного. Прошлое следует понимать как точку отсчета, осуществившегося восприятия. Последний фактор ставит философа перед дилеммой – в самом деле, прошлое ушло в небытие или оно просто перестало быть для нас чем-то значимым, полезным. Ответ на этот вопрос скрывается в проблеме восприятия и интерпретации настоящего. Говоря о настоящем, мы говорим, что оно есть, хотя более уместно утверждать, что оно совершается. Между тем, действительно понять прошлое как прошлое мы можем только соотнося два момента настоящего. Одного, совершаемого и становящегося и другого, которое перестало быть таковым, завершенного. Таким образом, взаимоотношение прошлого и настоящего

<sup>1</sup>Б е р г с о н А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С.159–317. – С. 310.

может быть сведено не к последовательности, а скорее к одновременности присутствия.

Следует сказать, что прошлое, будучи статичной формой времени, находится на онтологическом уровне в отличии от настоящего, являющегося продуктом нашего психологического переживания и актуального опыта. В прошлом содержится не только жизненная данность, но и онтологическая завершенность. Здесь, как справедливо отмечает Делёз, Бергсон переиначивает привычное понимание сущности настоящего и прошлого, отходит от общеупотребимых смыслов и значений, определяя фундаментальные различия модусов времени. Прошлое – величина постоянная, константа. Оно неизменно и, следовательно, оно «есть». В отличии от него настоящее постоянно ускользает от нашего осмысления. В связи с тем, что мы понимаем истинное значение и масштаб настоящего только в тот момент, когда оно стало прошлым, то нам следует говорить, что настоящее «было».

Бергсон устанавливает две функции памяти, которым придает важное значение. С одной стороны воспоминание отбрасывает тень на то, что с нами происходит здесь и сейчас, с другой, благодаря памяти, происходит соединение временных пластов, сцепление множества моментов. Эти свойства памяти позволяют индивидуализировать восприятие, что порождает личностный опыт. Значение памяти не сводится только к радости узнавания, возникновения тождественности элементов прошлого опыта в наличном. Да и сам процесс узнавания возможен только по причине изначального обращения вещи к нашим возможностям опознавания.

Для Бергсона неприемлема позиция, согласно которой сущность восприятия и памяти сводится только к мозговой активности. Нарушение работы мозга может повлиять на двигательную способность, но не коснуться области воспоминаний. Деятельность нервной системы является только связующим звеном между ощущением и движением. Цель мозговой деятельности и дальнейшего афферентного синтеза заключается в выборе из большого числа объектов только того, на котором должно сконцентрироваться внимание и вместе с ним напряжение памяти.

При анализе феномена воспоминания Бергсон на примере процесса заучивания стихотворения вводит различия между двумя видами памяти. Бергсон выделяет «чистое воспоминание», находящееся в состоянии покоя и воспоминание, преобразующееся в действие. Данное различие позволит дать подлинное представление о сущности воспоминания.

Двигательная память, возникшая благодаря волевому усилию во времени и личностным установкам, нацелена на практическую значимость. При этом сами процессы узнавания и восприятия являются запрограммированными, они будут скорее результатом факта, а не мысли. Чувственно-двигательные механизмы и как результат появляющиеся поступательные процессы позволяют воссоздавать стихотворение. Потенциал данного вида памяти рассчитан на возникновение реакции объекта в случае влияния на него внешнего воздействия. В связи с тем, что здесь отсутствует творческое начало, то этот вид памяти не может быть основанием умственного переживания. Работа этого вида памяти определяется взаимоотношением привычных связей и ограничивается схемой восприятия-действие. Данная процедура исключает промежуточные составляющие. Это воспоминание по своим характеристикам является подобием дурной бесконечности. Оно находится в стихии настоящего. Находясь под влиянием наличного, данное воспоминание непрестанно его воспроизводит. Мы можем говорить о телесной природе этого вида памяти, его рефлекторной основе, «сенсомоторных феноменах».

Помимо того, что тело перманентно предъявляет миру своё присутствие, его задача сводится к выбору полезного воспоминания для наличного действия. Следовательно, основой телесной формы воспоминания будет рациональная обусловленность и функциональная составляющая. В конечном итоге мы можем говорить о предвосхищающей составляющей этого типа воспоминания. Зная механизмы действия двигательной памяти, мы можем предыстолковывать наше дальнейшее поведение. Повторяющееся привычное действие исключает значимость представления и анализирования сущностной природы этого действия. Подобное рассуждение заключает в себе избыточное знание.

Помимо этого Бергсон определяет противоположный тип памяти – «чистое воспоминание», в котором содержится информация о самом процессе заучивания. Здесь первичны обстоятельства места и времени, а восприятие связано с моментом интеллектуального представления. Подобный вид воспоминания обретает новую жизнь в образе – воспоминании. Бергсон понимает под образом сущее, которое размещено на пересечении между вещью и представлением. По причине того, что этот вид памяти существует параллельно с сознанием, Бергсон определяет его как истинный. Соприкасаясь с подобным воспоминанием, мы постигаем действительное, подлинное бытие. Так как основу этой разновидности па-

мяти составляет разумная интуиция, то она не может быть сведена к привычке. В отличии от памяти-привычки, являющейся плодом интеллектуального напряжения, память-образ возникает спонтанно. Здесь фиксация проходящих образов происходит непрерывно. Воспоминание существует в двух проявлениях: «чистое воспоминание», существующее на бессознательном уровне, находящееся в состоянии покоя и воспоминание, преобразующееся в действие. В связи с тем, что здесь предыдущий опыт сохраняется благодаря необходимости, практическая значимость воспоминания уходит на второй план, уступая место творческому осмыслению прошлого. По своей природе подобное воспоминание обособленно и автономно. При всех вышеобозначенных различиях все составные части памяти: воспоминание, двигательная память, воспоминание-образ, восприятие – взаимозависимы. Они полноценно функционируют только в процессе взаимодействия. Становление, которое длится, – в этом и состоит ведущая интуиция «Материи и памяти» Бергсона по мнению П. Рикёра.

## Б) Феноменология памяти П. Рикёра

П. Рикёр в рамках общей исследовательской парадигмы – разработки обобщающей концепции человека, «человека могущего» – поставил задачу создания феноменологии (в гуссерлевском ее понимании) памяти в работе «Память, история, забвение» (2000). Решение основной задачи состояло в последовательном анализе памяти с позиций феноменологической герменевтики, разработке эпистемологии истории и герменевтики исторического состояния и забвения. Политической максимой П. Рикёр провозгласил: «уметь не забывать, но и не становиться заложником собственной памяти». Воспоминание П. Рикёр прочно связывает с «вспоминающим субъектом»: «вспоминать что-либо означает одновременно вспоминать самого себя». В то время как «коллективная память – это память о моральной обязанности осуществлять справедливость или допускать ее воплощение. Совершая хорошие или плохие поступки, человек является не просто индивидом, испытывающим давление обстоятельств, но мыслящим субъектом, который, сталкиваясь с препятствием, создает собственную идентичность. Индивидуальная и коллективная память, способствующая формированию личной идентичности, порождает проблему справедливой памяти. А понятие справедливой памяти обретает смысл в результате сопоставления различных ви-

дов памяти»<sup>1</sup>. Память, согласно автору, сосредоточена на себе самой, в то время как истории «присуще стремление к расширению сферы ориентиров и оценок».

В соответствии с гуссерлевской традицией (интенциональности) в первую очередь должен ставиться вопрос о предмете памяти, а не о субъекте (в коллективной памяти с определением субъекта возникают проблемы). Правильной последовательностью, согласно автору, должно быть «от вопроса «что?» – через вопрос «как?» – к вопросу «кто?»; от воспоминания – через припоминание – к рефлексивной памяти»<sup>2</sup>.

Термин «память» всегда предполагается в отнесенности каким-то понятием.

1) Соотнесение терминов «привычка» и «память» (рассмотрено А. Бергсоном как дихотомия). Их единство в отношении ко времени. Память-привычка использует приобретенный опыт механически, не фиксируя отношение к прошлому. Память-воспоминание всегда явно отсылает к прошлому опыту, при этом отвлекается от настоящего, неутилитарна, склонна к воображению. Проще всего рассматривать проект «мест памяти» именно в этой оппозиции в качестве собственно памяти. «Поминать, отмечает Кейси, значит придавать торжественность, принимая прошлое всерьез и прославляя его в ходе соответствующих церемоний... поминание – это также своего рода вызывания в памяти в смысле повторной актуализации основополагающих событий, подкрепленные призывом «помнить», придающим торжественность церемонии»<sup>3</sup>. Это будет проявлением дескриптивного подхода. Однако «не превращает ли это своего рода увековечение, осуществляемое в ходе повторения ритуалов, независимо от смерти одного за другим тех, кто участвует в праздновании, наши поминания в акт глубочайшего отчаяния, чтобы противодействовать забвению в его наиболее скрытой форме – в форме стирания следов, превращения в руины?»<sup>4</sup> «Наши современные дискуссии о местах памяти – вполне реальных, имеющих свою географию, –

<sup>1</sup> Р и к ё р П . Интервью с профессором Полем Рикёром 26.09.2000 //Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.10.

<sup>2</sup> Р и к ё р П . Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.22.

<sup>3</sup> C a s e y E . Remembering, op. cit., p. 223. Цит.по Рикёр П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.71.

<sup>4</sup> Р и к ё р П . Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.72.

можно считать запоздалым наследством мастерства искусной памяти греков и римлян, для которых места были местопребыванием ментальной записи»<sup>1</sup>.

2) Соотнесение пары «*воскрешение в памяти*» и «*вызывание в памяти*» (рассмотрено Аристотелем как *mnēthē* и *anamnesis*). Первое – чувство, бывает сильным или слабым, возникает непроизвольно, оно «не просто испытывается (*pathos*), но претерпевается»; второе – разыскивается, активно вызывается в памяти, усилие, направленное против забвения, имеет препятствия на своём пути, которые нужно преодолеть, использует «узелки на память» (указатели воспоминания в нейронауках), ассоциации, посредников, техники реконструкции, рассуждения, аргументации.

3) Соотнесение пары «собственная память» и «коллективная память». Промежуточное положение между двумя полюсами – индивидуальной и коллективной памятью – согласно П. Рикёру, «промежуточный план референции, где конкретно осуществляется взаимодействие между живой памятью индивидуальных личностей и публичной памятью сообществ... Это – план отношения с близкими»<sup>2</sup>.

Именно в этой онтологической соотнесённости заложен корень всех конфликтов, связанных с интерпретацией памяти. Болезненное воспоминание отдельного человека едва соотносимо с дистанцированным критическим взглядом исторического сообщества и приговором исторической памяти поколения. Именно в этом контексте «долг памяти», призывы «помнить» истолковываются часто диаметрально противоположно, и нередко воспринимаются как «призыв действовать в обход работы истории». Именно в этих проекциях возникает известное, а ныне и модное противопоставление М. Хальбвакса «память versus история», а память превращается в «один из новых» объектов истории.

Но именно в этой точке долг памяти оказывается наиболее отягощенным двусмысленностью.

Коллективная память, всегда пребывающая в действии, является почвой, в которой укоренена историография. К коллективной памяти применяются категории, выработанные при анализе индивидуального сознания. Согласно П. Рикёру можно говорить о феноменологии индивидуальной памяти и социологии коллективной памяти, кото-

<sup>1</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.95.

<sup>2</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.134.

рую можно было бы назвать «феноменологической социологией» в смысле «понимающей и объясняющей» социологии М. Вебера.

Уже у Э. Гуссерля «общая память» прекрасно согласуется с понятием «культурные миры», понимаемыми как «конкретные жизненные миры, в которых, претерпевая и действуя, живут относительно или абсолютно обособленные друг от друга сообщества». В «Кризисе европейских наук» «жизненный мир» ни в коем случае не отождествляется с одиночным существованием. Однако, согласно П. Рикёру, «социологическое понятие коллективного сознания может выражать лишь вторичный процесс объективации intersубъективных отношений. Без возможности каких-либо объяснений феноменологическая традиция переносит предикаты индивидуальной памяти на коллективный субъект.

Историческая теория создаётся по ту сторону феноменологии памяти, т.к. «нельзя абстрагироваться от исторических условий, в которых было выдвинуто требование о долге памяти... Проблемы, поставленные социологией коллективной памяти, подвергаются переформулированию со стороны историков в связи с временным измерением социальных феноменов: напластование у Броделя и историков школы Анналов больших, средних и кратких длительностей, как и соображения, касающиеся отношений между структурой, конъюнктурой и событием, связаны с этим восприятием историками проблем, с которыми социологи уже столкнулись на уровне коллективной памяти»<sup>1</sup>.

Идентичность распадается на два полюса: личная идентичность и идентичности общностной.

Последняя особенно обостряется в дни скорби и трагедий, вокруг которых сплачивается весь народ. Угроза жизни, задача выживания, как справедливо акцентировал внимание Т. Гоббс, толкает людей к сплочению ради безопасности. Но память в этом опыте повторения прошлых бед не сопряжена с активным мышлением, она сродни большой памяти патологии в наблюдениях З.Фрейда. Она ущербна и может иметь смысл только в критической памяти-воспоминании: «то, что одни культивируют с мрачным наслаждением, и то, чего другие избегают с нечистой совестью, – это одна и та же память-повторение. Одни стремятся укрыться в ней, другие, напротив, боятся, что она поглотит их. Но и те, и другие одинаково страдают от *дефигурации критики*. Они не достигают того, что Фрейд называл рабо-

<sup>1</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.126, 183.

той воспоминания»<sup>1</sup>. Лечение такой памяти в психоанализе состоит в обеспечении «взаимодействия пассивной, *страдательной (pathique)* стороны памяти и ее активной, *действенной* стороны», испытываемая скорбь должна соединиться с осознанием ответственности за прошедшее.

Переплетение проблематики памяти с проблематикой идентичности – как коллективной, так и индивидуальной на почве отношений истории и феноменологии П. Рикёра связывает с анализом памяти инструментализованной: как в контексте противопоставления целерациональности – ценностнорациональности (М. Вебер), так и противопоставления «стратегический разум» – «коммуникативный разум» (ранний Ю. Хабермас).

У Д. Локка Локка память превращается в критерий идентичности, мобилизация памяти служит потребности в идентичности. Потребность в идентичности свидетельствует о её непрочности, о расхождении провозглашаемой, рекламируемой идентичности и рефлектируемой. Осознание же прошлого замечает не только хорошее, но и непремлемое в прошлом. А принимать на себя нужно всю «накидку» прошлого целиком. Свою лепту в интеграцию на основе единой идентичности, хотя и на специфической почве оправдания власти, вносит идеология. «Память включается в конституирование идентичности с помощью нарративной<sup>2</sup> функции. Избирательное повествование официальной власти принимает память, воспоминание и поминание на свою службу. Злоупотребления памятью идеологией и властью исчерпывающе исследованы Ц. Тодоровым в одноименной работе<sup>3</sup>. Одностороннее восхваление одних здесь представляет равную опасность наряду с всеобщим самобичеванием других. Золотой серединой считает автор моральный прагматизм: «извлекать из травмирующих воспоминаний назидательное значение; этот совет может быть реализован только путем превращения памяти в проект. Если травматизм отсылает к прошлому, то назидательное значение ориентирует к будущему»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.117.

<sup>2</sup>Термин был заимствован из историографии в концепции «нарративной истории», рассматривающей исторические события, как возникшие не в результате закономерных исторических процессов, а в контексте рассказа об этих событиях и неразрывно связанные с их интерпретацией (Тойнби «Человечество и колыбель-земля. Нарративная история мира», 1976), безразлично к исходному смыслу.

<sup>3</sup>T o d o r o v T z. Les Abus de la mémoire. Paris, Arléa, 1995.

<sup>4</sup>T o d o r o v T z. Цит. по Рикёру П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.126.

Память здесь только презентация одной из темпоральных составляющих, наряду с тем, как оценивается настоящее и планируется будущее.

Идентичность имеет в концепции П. Рикёра 2 смысла: «такой же, как, *idem, same, gleich*, и тот же самый, что и *ipse, self, Selbst*». Жак Ле Гофф говорил о «снижении идентичности *ipse* до уровня идентичности *idem*».

Долг памяти – проблема не столько историческая, сколько этическая: «Долг памяти есть долг воздания справедливости – через память – иному, нежели «я»». «Именно справедливость, выявляя назидательное значение травмирующих воспоминаний, превращает память в проект, и именно сам проект справедливости придает долгу памяти форму повелевающего будущего. В таком случае есть основания утверждать, что долг памяти как требование справедливости переносится в качестве третьего момента в точку соединения работы скорби и работы памяти»<sup>1</sup>. П. Нора характеризует современную эпоху как «одержимость поминовением» – «модель памяти взяла верх над исторической моделью, а вместе с ней и совсем иное использование прошлого – непредвидимое и своенравное»<sup>2</sup>. То что индивидуальная память, защищая психику, старается вытеснить, забыть, коллективная память превращает в мемориал. При этом сама национальная память во Франции трансформировалась «менее чем за двадцать лет от единого национального сознания до самосознания патримониального типа». Без метафизики субъективности, возводящей себя в ранг субстанции, объяснить эти метаморфозы сложно. Однако абсолютизация индивидуального субъекта саму возможность рассматривать память субъекта коллективного возвела в ранг метафоры. И только благодаря холизму в социологических установках представителей школы Дюркгейма и его последователей и востребованностью самой социологии коллективное сознание и его проявления не были объявлены номеналистическим оборотом, за которым не стоит ничего, кроме сознания, памяти отдельных людей. Для конституирования индивидуального и коллективного субъекта разделение на память человека и историю групп стало вполне понятным. Труднее оказалось вновь увидеть между ними единство. Проблемой отношений между индивидуальной и коллективной памятью

<sup>1</sup>Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.128.

<sup>2</sup>N o r a P. (dir). Les Lieux de mémoire. Paris, Gallimard, 1984–1986. См.: Les France, t.3, «De l'archive à l'emblème», p. 977sq, p. 988.

заинтересовалась историография, хотя и предпочитательно в виде одного из перспективных объектов исторического исследования.

Тематизация проблематики памяти чаще всего движется по двум путям, выделенным ещё Аристотелем: путь «притязаний памяти на истинность» и путь прагматического использования как практики запоминания.

Традиционными аргументами в пользу того, что память сугубо способность индивида, а не группы являются: а) невозможность переместить личные, исключительно интериорные воспоминания в память другого человека, сделать их экстериорными; б) временная непрерывность, а следовательно, и идентичность, единство самосознания и памяти удерживаются в памяти благодаря тому, что память связывает индивидуальное сознание с его прошлым, а не прошлым другого человека, множественность воспоминаний соединяет в единство; в) только индивидуальная память, связывая модусы времени, позволяет ориентироваться во времени, сохранять вектор – «стрелу времени».

Эпистемология исторического познания, согласно П. Рикёру, «должна рассматриваться и иметь автономию в качестве науки о человеке». Автономия должна касаться не только эпистемологической функции истории, но и «самодостаточности познания историей себя», т.е. история должна стать философией истории, вопрошающей о собственных основаниях. «Историографическая процедура происходит из двойной редукции: редукции живого опыта памяти, но также и редукции насчитывающих многие тысячелетия спекулятивных представлений о временном порядке».<sup>1</sup> Историческое познание отличается от социологии и других обществоведческих дисциплин акцентом «на изменении и на различиях и отклонениях, связанных с изменениями».

Существуют черты памяти, которые можно назвать трансисторическими.

Мишеля де Серто внес свой вклад в проект Пьера Нора и Жака Ле Гоффа<sup>2</sup>, названный авторами «Faire de l'histoire» («Писать историю»)<sup>3</sup>. П. Рикёр заимствует с небольшими поправками его трех-

членную структуру рассмотрения исторического исследования, «трех частей историографической операции<sup>1</sup>», сосуществующих во времени (а не последующих друг за другом). Первый уровень – документальный – накопление документов; второй, самый дискуссионный – уровень объяснения или понимания – как вариации ответов на вопрос о необходимости этих исторических событий («почему так, а не иначе?» – «потому что»); третий уровень – репрезентативный – придает литературную форму, собственно писание истории – историография в узком смысле. Проблемы первого уровня связаны с недоверием к письменным источникам. Отсюда и начинается расхождение истории и памяти, письменная история, дистанцированная от события, в мифологическом изложении претендует на то, чтобы заменить ненадежную память уже в «Федре» Платона. Этапы становления исторического знания П. Рикёр выстраивает в следующей последовательности: от свидетельства и его записи (становление историческим) к архиву и критическому анализу доказательности, сопоставлению свидетельств как главному основанию претензий на достоверность. «Историография – это прежде всего архивированная память, и все последующие мыслительные операции, которые вобрала в себя эпистемология исторического познания, восходят к этому изначальному событию архивации, то изменение в истории, пространства и времени может рассматриваться как необходимое условие возможности самого акта архивирования»<sup>2</sup>. Событие – наиболее очевидное и наименее спекулятивное. Согласно М. Блоку, история с необходимостью прибегает к свидетельству потому, что её предметом является не прошлое и не время, а «люди во времени», даже несмотря на то, что свидетельство – это только след, косвенное основание. Письменным следом «человека во времени» выступает архив. Но историку и этого мало, и он устами М. Блока повторяет: «Как я могу знать то, что я вам скажу?».

В качестве третьей необходимой фазы историографического исследования выступает критика свидетельств. В концепции К. Гинзбурга<sup>3</sup> постулируется диалектическая связь, отношение дополнительности между уликой и свидетельством в рамках понятия следа. «Неписанные свидетельства» М. Блока получили более де-

<sup>1</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.223.

<sup>2</sup> Le Goff J. et Nora P. [dir.]. Faire de l'histoire, Paris, Gallimard, coll. «Bibliothèque des histoires», 1974.

<sup>3</sup> R i c æ u r P. Philosophies critiques de l'histoire: recherche, explication, écriture // Guttorm F10istad (dir.) Philosophical Problems Today, 1.1, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers, Institut international de philosophie, 1994, p. 139–201.

<sup>1</sup> Р и к ё р П. – использует этот термин широко, как «операция, в которой и заключается историческое познание как дело, как ремесло».

<sup>2</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.205.

<sup>3</sup> Г и н з б у р г К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история. – М., 2004.

тальное функциональное объяснение в качестве материальных улик К. Гинзбурга. Критический анализ достоверности свидетельств, согласно П. Рикёру, и вовсе инновация исторической науки, т.к. «именно в сфере истории возникло само слово «критика» со значением доказательного подтверждения чужих высказываний, прежде чем она обрела трансцендентальную функцию, предписанную ей Кантом в плане исследования границ способности познания»<sup>1</sup>. Именно на третьем уровне и обнаруживаются, по мнению П. Рикёра, апории памяти (присутствие отсутствующего, настоящая практика прошлого). «Каждая из трех операций историографической процедуры служит базовым уровнем для двух других... новая фаза историографической операции уже составляла пласт предыдущей, поскольку нет документа без обращенного к нему вопроса и нет вопроса без предполагаемого объяснения»<sup>2</sup>. «След, документ, вопрос образуют, таким образом, своего рода треножник, на котором держится историческое познание»<sup>3</sup>. Вопрос конструирует исторический объект: определяет и необходимые источники, и предполагаемые методы, и правдоподобные гипотезы, превращает информацию в документ (документ «учреждается – вопрошанием»). Когда память архивирована, документирована, воспоминание становится письменным архивом. «Документ служит доказательством в связи с объяснением». Согласно П. Рикёру и Р. Шартье «только письменный характер, понимающее объяснение и документальное доказательство вместе способны подтвердить притязание исторического дискурса на истину... у нас нет ничего лучшего, чем свидетельство и критика свидетельства, чтобы подтвердить историческую репрезентацию прошлого»<sup>4</sup>. Этим путём предполагается обойти «вопрос о честности» свидетельств.

Память связана со временем союзами «до того как», «позже», «в то время как», т.е. вычислением датированных совпадений. Сама краткость человеческой жизни вырисовывается на фоне безмерности безграничного хронического времени. Календарное время выступает в ступенчатом ряду временных представлений, которые не более, чем первое, сводятся к прожитому времени феноменологии.

<sup>1</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.240.

<sup>2</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.192, 255.

<sup>3</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.192.

<sup>4</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.392–393.

Так, Кжиштоф Помиан<sup>1</sup> в работе «Порядок времени» различает «четыре способа визуализировать время, переводить его в знаки» (предисловие, р. IX): это хронометрия, хронология, хронография, хронософия.

Хронология, хотя и близка исторической науке, «но ей чуждо разделение между природой и историей: она предоставляет слово истории космической, истории земли, истории жизни; человеческая история для нее – лишь сегмент этого»<sup>2</sup>. Отсюда стремление к периодизации «эпох» (Ренессанс), «веков» (с XVIIIв.). Не избегает систематизирующей периодизации даже «Философия истории» Гегеля.

Изменения, согласно П. Рикёру, принципиально завязаны на время, в отличие от одномоментности события, в «истории не существует предпочтительного способа объяснения». (Память скорее выстраивает иерархию, нежели последовательность и длительность). «Большая длительность структурирует во временном плане преимущественно серии повторяющихся фактов, а не отдельные события, которые могут вспоминаться различным образом; в силу этого к ним применимы квантификация и математические методы»<sup>3</sup>. Отсюда интерес традиции «Анналов» к большим длительностям и соответствующей связи макроэкономическим факторов: культурных, политических, институциональных.

После того, как отказались от идеи построения наук о человеке по аналогии с естественными, М. Вебер, Г.Х. фон Вригт обосновали необходимость сочетания процедур объяснения и понимания, сочетания детерминизма и телеологии. Кризис метода был усугублен кризисом истории ментальностей, назревавшим в течение длительного времени, уже с момента проблематичного появления самого понятия в социологии «первобытной ментальности». М. Фуко, М. де Серто и Н. Элиасу – основные мэтры истории ментальностей сблизили понятие ментальностей с понятием репрезентаций – как новый подступ к тотальному феномену и, в то же время, как новый объект историографии.

История не отступает от своего режима дистанцирования по отношению к живому опыту, опыту коллективной памяти. Никогда до конца не прекращались поиски регулярного, устойчивого, длительно-

<sup>1</sup> P o m i a n К. L'Ordre du temps, Paris, Gallimard, coll. «Bibliothèque des histoires», 1984.

<sup>2</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.217.

<sup>3</sup> Р и к ё р П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.257.

ся. Л. Февр, хотя и заимствует у Леви-Брюля понятие ментальное, «это делается для того, чтобы в историю «случаев», составляющую часть исторической биографии, привнести в качестве заднего плана то, что он называет «ментальной оснасткой». Расширив таким образом понятие ментальное, сфера исторического исследования выводится за пределы экономики и, главное, политики, а в адрес истории идей, исповедуемой философами и большинством историков науки»<sup>1</sup>. Им же в 1929 г. поставлен вопрос о границах репрезентации, «свойственный этой эпохе кругозор», «что может и чего не может представить себе о мире человек той или иной эпохи – вот что стремится показать история ментальностей», только отчасти соответствует историко-философской установке на историчность познания. (Пример выяснения М. Блоком того, как распространялось суеверие лишь частично обусловлен историческими особенностями и в значительной мере отсылает к природе человека)»<sup>2</sup>. Даже такая интерпретация П. Рикёром философской основы в работе М. Блока слишком преувеличена. В позиции М. Блока прозрачен только один вопрос о том, что история во всей своей эмпиричности и индивидуальности опирается на потребность во всеобщих посылах.

Р. Мандру так обосновал историю ментальностей: «[Историческая ментальность] ставит своей целью воссоздание поведения, высказываний и умолчаний, выражающих коллективное мировосприятие и коллективные чувствования; представления и образы, мифы и ценности, признанные или пассивно усвоенные группами либо обществом в целом и составляющие содержание коллективной психологии, являются главными объектами исследований»<sup>3</sup>, т.е. мировоззрение и менталитет. «История ментальностей обретает самостоятельность в момент, когда проект тотальной истории оказывается размытым, сводясь к наследию коллективного бессознательного, собранию тем «от климата и до праздников»<sup>4</sup>. Лакуна для ментальностей – эвристическая значимость понятия в обозначении всего того, что «что в системе взглядов не растворяется в содержании дискурса».

<sup>1</sup> Р и к ё р П . Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.270.

<sup>2</sup> Р и к ё р П . Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.274.

<sup>3</sup> M a n d r o u R . Introduction à la France moderne. Essai de psychologie historique (1961), rééd., Paris, Albin Michel, 1998. De la culture populaire en France aux XVIIe et XVIIIe siècles et La Bibliothèque bleue de Troyes (1964), rééd., Paris, Imago, 1999. Magistras et Sorciers en France au XVIIe siècle. Une analyse de psychologie historique, Paris, Éd. du Seuil, 1989.

<sup>4</sup> Р и к ё р П . Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.276.

Так и «история функционирует поочередно то как лупа, даже как микроскоп, – то как телескоп, не имея соизмеримости масштабов». Мы видим разные вещи. Мы здесь уже не можем говорить о сокращении масштаба. Это – ряды, различные по своей конфигурации, по причинным связям. Тоже самое и с длительностями Ф. Броделя. Исследователь видит разное, охватывая разный размер! «История ментальностей безусловно пострадала от такой методологической ущербности, проявившейся в отношении смены масштабов, там, где предполагалась связь массовых ментальностей с большой длительностью и при этом не учитывалась специфика их распространения в условиях меньших масштабов... Для количественной, серийной истории, для которой важны лишь количество и обезличенность, предрассудок, от которого не свободен даже Люсьен Февр, когда он говорит о «людях XVI века»... макроистория и микроистория различны по своей сути и что переход от одной к другой остается узловой эпистемологической проблемой, которой еще далеко до решения.. заключения, верные относительно индивида, не могут быть распространены на совокупность индивидов»<sup>1</sup>. Отсюда расхождение и в исследовательском интересе: социология «интересуется чертами стабильности, тогда как история концентрирует свое внимание на признаках нестабильности».

П. Рикёр провёл «параллель между событийной историей (историями, которые рассказывают) и каузальной (историей, которую выстраивают по следам документов) с философским: индивидуальное – социальное». По справедливому замечанию П. Рикёра «формирование социальных связей всегда сопровождается формированием идентичностей», однако, ещё остаётся вопросом: верно ли обратное – что происходит с идентичностями при атомаризации общества. Логически необходимый вывод из неправильного *modus ponens* не вытекает.

<sup>1</sup> Р и к ё р П . Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с. – С.297, 303.

## История и социальная память в трёх проекциях

Происходит процесс глобализации, размываются экономические и политические границы. Эффективные формы политического управления и хозяйствования эволюционно вытесняют менее эффективные. Расширяется комплекс ценностей, приобретающих общечеловеческий характер. Угроза физического уничтожения по субъективному произволу целого народа становится всё более проблематичной. Уплотняется социальное пространство. При этих предпосылках вопрос физического выживания всё большего числа народов стоит всё менее остро. Демография наиболее благополучных по качеству жизни стран имеет тенденцию к сокращению представителей титульной нации, смешению её с мигрантами других национальностей. В этих грубыми мазками обозначенных условиях наблюдается обострение интереса политиков и интеллектуалов к сохранению идентичности, целостности нации. В атмосфере повышения интереса к исследованию коллективных представлений историками, социологами и философами складывалась проблематика первоначально французского проекта «истории памяти». На материале становления оппозиции исторического исследования и национальной памяти от М. Хальбвакса до П. Нора было зафиксировано исчезновение коллективной памяти, которая всё более стала подменяться внешним историографическим дискурсом.

Память исчезла потому, что исчезли сами группы – носители коллективной памяти; потому и обострился интерес к памяти, что ее больше нет. Вместе с потерей органической целостности общества «повисли в воздухе» и институты передачи социальной памяти и традиций: семья, школа, церковь, государство, идеология. Наконец, изменилось и само историческое сознание (благодаря СМИ), ограничившее «свое наследие самым сокровенным, эфемерной фотографией актуальности». У М. Хальбвакса память выполняла функцию непрерывной связи поколений, поэтому с её исчезновением, делает вывод П. Нора, потребность в «непрерывности находит свое убежище в местах памяти». Разорванная на периоды и темы история и является, с точки зрения П. Нора, результатом разрыва целостной национальной памяти на исторические эпизоды абстрактного прошлого. Раньше история была тождественна памяти. Теперь с исчезновением эволюционирующих, живых социальных групп история искореняет память. Результат – обрыв связи идентичности. Память сосредоточена на устойчивости, наследовании, традиции и консер-

ватизме; история как познавательная операция – на изменчивости и забывании. В истории в отличие от памяти содержание меняется. С нового времени, согласно автору, возросло само стремление изменяться, возникшее вместе с правом и властью. Субстанция классики была противопоставлена историзму.

Память, в концепции французских историков и социологов, абсолютно не терпит плюрализма интерпретаций, а это значит, что ей невозможно существовать в эпоху диалогического постмодернистского дискурса. Память – нерелефлексивна, жизненна, всегда актуальна, в настоящем, символична и мифологична, связана с сакральным, достоверна, множественна и неделима, коллективна и индивидуальна, субъективна, связана с конкретным носителем (образом, объектом); история – всегда относительна, проблематична, аналитична, критична, репрезентативна, укоренена в прошлом, связана со светским, универсальна, претендует на объективность, не прикреплена ни к чему, кроме времени, история менее всего склонна доверять памяти. Поскольку неизвестно, что может понадобиться в будущем, постольку надёжнее всё вообще превращать в архивы и памятники, т.е. утрата национальной памяти повлекла лихорадочное увеличение процедур, которые могли бы её спасти. Есть основания предполагать, что и введение в России в курс образовательных дисциплин как средней, так и высшей школы истории религий и православной культуры, возведение религии в статус отрасли науки связан в первую очередь с попытками решать проблему национальной идентификации. Пафос воспитательной функции истории, призванной сплачивать нацию, внушать уважение к государству, сосуществует вместе со стремлением к максимальной объективности и верой в прогресс истории. Этот вектор истории и является главным связующим звеном прошлого с будущим для «событийной истории». Особое внимание уделяется истолкованию истории в учебниках (воспитательный аспект).

Возникает вопрос: не является ли этот интерес к национальной идентификации временным, искусственно подогреваемым в связи с какими-либо частными интересами? Не является ли стремление сохранить национальное своеобразие эгоистическим, заведомо обреченным на провал, сопротивлением естественному процессу глобализации, эволюционному становлению космополитизма, вытеснением гражданином мира человека национального.

Необходимость национальной сплочённости вполне объяснимая в эпохи, когда стоял остро вопрос о физическом выживании перед лицом стихий природы, постоянной угрозы внешней агрессии со стороны других национальных групп, когда различие на своих и

чужих и инстинктивная согласованность групповых действий в коллективном труде этнической группы были в прямом смысле вопросом жизни и смерти. Но наметившаяся тенденция к стиранию политических и экономических границ на основе построения системы коллективной безопасности делает вопрос о необходимости национальной идентификации не столь очевидным. Вопрос пока исключительно о принципах, а не о том, действительно ли большинство угроз физического выживания конкретного народа преодолено. Представляется на данный момент очевидным, что для ряда наций эти угрозы уже сейчас не являются острыми. Возникает общий вопрос, будет ли снижаться острота, потребность в национальной самоидентификации по мере снижения угроз физическому выживанию и свободе граждан этих национальных общностей?

Нынешняя интеллектуальная ситуация в относительно «благополучных» странах не даёт на эти вопросы простого ответа. К примеру, значительное повышение интереса обществоведов Франции к проблемам укрепления, сплочения нации, национальной идентификации вызвало к жизни целые движения, программы «истории памяти», «мест памяти», «истории ментальности». Вопросы, некогда относившиеся к истории как одной из дисциплин, стали общим полем дискуссии профессионалов-интеллектуалов всего социально-гуманитарного блока. Перестали быть сугубо частно-специальными вопросы: «Что должна изучать история?», «Может ли она чему-нибудь научить?», «Должна ли историческая наука быть одним из основных инструментов формирования чувства национальной принадлежности, гордости, целостности?» и т.д. Да и не так уж очевидно, что идеологическая, патриотическая ориентация школьного учителя по истории, перечисление им значительных успехов и побед нации в истории являются достаточно эффективным механизмом, влекущим значимость национальной самоидентификации для подрастающего поколения. Ф. Артог не был первым, кто заметил, что связь исторической науки с прочностью чувства национальной целостности, важностью национальной идентификации, сохранением национальной уникальности не так уж необходима: «Почему в то время как иудаизм из века в век всегда в сильнейшей степени был пропитан духом истории, сама историография играет у евреев в лучшем случае вспомогательную роль, а чаще всего – совсем никакой? В переживании испытаний, которые выпали на долю евреев, всегда основополагающей была память о прошлом,

но почему ее первыми хранителями никогда не были историки?»<sup>1</sup>. Сохранение национальной идентичности, целостности, если и когда в таковой действительно была необходимость, осуществлялось, очевидно, на основе исторической памяти, но не обязательно истории как образовательной дисциплины. Возможно, осознание этого обстоятельства и привело к тому, что ранее очевидным образом «органично» связанные понятия «исторической памяти» и «истории» как «хранительницы» этой памяти были столь же очевидно противопоставлены. Сначала М. Хальбвакс увидел в истории лишь одну из форм коллективной памяти, а затем П. Нора и вовсе обнаружил в них непримиримый антагонизм. Кроме того, сама постановка вопроса о необходимости сохранения памяти нации косвенно указывала на то, что механизмы её сохранения, институты памяти перестали выполнять свою функцию.

Национальная история «учитывает только те факты, которые касаются всех граждан или, если угодно, граждан в качестве представителей нации». Только те события, которые заставляли забыть частные интересы, видоизменяют жизнь каждого, опорными точками во времени. Это хорошо должны понимать сельские жители, для которых любые частности личной жизни могут быть значимы для целого (общины), а личные воспоминания перманентно «подправляются» воспоминаниями других. Коллективная память, согласно М. Хальбваксу, отличается по меньшей мере в двух отношениях. Память естественна, хранит то, что живо в сознании группы, история – искусственно возрождает то, чего уже нет, создаёт иллюзию, что каждый период всё новое, в ней нет непрерывности пьесы, можно начинать с любого места, наследование группами названий чисто внешнее. Нет общества как целого, телесного, история каждый период рассматривает как целое, но не их органическую связь. Эти периоды делятся столько, сколько сохраняется потенциала в определенной группе, пока не реализованы все её следствия и она не исчерпала себя. Новые поколения могут кое-что прихватить из прошлого, но оно постарается быстрее слиться с новыми правилами. В этих образах Хальбвакса (на склоне холма) современники могут быть дальше, чем десятки предшествующих поколений. Память интересуется общим, историю интересуется различие. Этот контекст и породил ту проблематику, которая стала классической в глобальном проекте «мест памяти» П. Нора.

<sup>1</sup>Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас, 2008, № 3 (59).

Таким образом, в случае положительного ответа на вопрос о том, почему вообще необходимо сохранять национальную идентичность, потребуются определиться с механизмами, которые эффективно выполняют функцию хранения национальной памяти и воспроизводства национальной идентичности и каковую значимость в связи с этим приобретает история. Для ответа на последний вопрос потребуются определиться ещё и с тем, стало ли обретать реальные черты предвидение о том, что история становится той скрепой, которая могла бы связать все науки о человеке и обществе. Возникает вопрос: на какой почве история могла бы претендовать на эту роль собирателя, катализатора междисциплинарного синтеза наук о человеке и обществе, учитывая, что именно среди профессиональных историков сильны призывы отказаться от этих замыслов? То, что в исторической науке вопрос о предмете исследования не является общепринятым, ещё не может лишить её «честолюбивых» надежд. Скорее отсутствие конвенции по этому вопросу в профессиональной среде говорит, как раз, об огромном потенциале исследовательских программ, имманентно содержащемся в её содержании и априори неподъёмном для традиционно понимаемой технологии исторического исследования.

Основания, которые обуславливают этот процесс, относятся как субъективности, так и к интересубъективным отношениям. Аргументация того, почему человека и общество волнуют проблемы национальной идентификации, как правило, коренится первоначально в свободе человеческого сознания. Объективность этой свободы в обществе обнаруживается в реализации её во внешнем мире в отношении собственности. Человека интересует как его частная собственность, так и богатства принадлежащие нации, на участие в использовании которых если не он, то его наследники могут претендовать. Затем анализируются основания, вытекающие из эффективности сохранения национального менталитета, культуры, экономики. Вхождение в глобальную цивилизацию предполагает, что разнообразие нужно сохранять, но при условии понимания его не как содержания, а как формы. Исторический вес имеет главным образом сам «факт» разнообразия, и в меньшей степени то конкретное «историческое содержание, которое придала ему каждая эпоха». ЮНЕСКО через систему договоров и хартий учла (по крайней мере, частично) эту позицию. Во многом именно поэтому стала разрабатываться международная конвенция о культурном разнообразии<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>А р т о г Ф . Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас, 2008, № 3 (59).

Популярной становится точка зрения, согласно которой Россия не совершает никакого перехода ни к лучшему, ни просто к иному, а находится в стадии разложения прежней тоталитарной системы<sup>1</sup>. Постсоветская система создала постсоветского «лукавого раба» с «негативной идентичностью» и отрицательным отношением к псевдоинститутам и отношениям. Несмотря на справедливость многих оценок, работа Л. Гудкова<sup>2</sup> опирается на метафоры, выводящие её в сферу публицистики. Н.С. Розов же предлагает выделять переменные или необходимые качества, «по которым происходит или не происходит трансформация социальных структур и институтов, общественного сознания».

Традиционная память предполагала порядок и иерархию, идею нации; нынешняя становится всё более локальной памятью групп. Память по своей природе избирательна, «удерживать только то, что её укрепляет». Отсюда, группы хотят помнить только то, что им выгодно. В этом предпосылка конфликта. В отношении к такой палитре избирательных воспоминаний различных групп, в противоположность к ним, история, согласно Л.Вирту, оправданно позиционируется как «процедура истины». Однако СМИ делают выводы раньше историков. Социальная идентификация почти всегда опосредована верой посредникам. В этой связи вопрос об этико-моральном статусе источника является первостепенным. Согласно В.Хёсле, этику и метафизику нельзя основывать на истории, «необходимо саму историю основывать на метафизике». Идеи морали, права придают истории смысл (как назначение), а не наоборот.

В социальной системе уже моменты относительной стабильности являются ничем иным как активной и постоянно действующей, выходящей из равновесия энергией, возбуждающей энергию противоположенных стремлений активных субъектов. Только на первый взгляд может показаться антиномией, что социальная стабильность – это лишь искусственно выбранный угол зрения на постоянную и исключительно активную борьбу с собой и миром всех участников общественной системы. И наоборот, кризис социальной системы – есть результат бездеятельности, потери энергии жизни ключевыми игроками этой системы, и бездеятельное созерцание этого опасного покоя другими участниками. Кризис порождает обе стороны. Изменения в социальной системе, реформы, революции являются по сво-

<sup>1</sup>Р о з о в Н . С . Историческая макросоциология: методология и методы. Новосибирск, 2009, с. 63.

<sup>2</sup>Г у д к о в Л . Негативная идентичность. М., 2004, с. 6, 494.

ей сущностной природе реакцией на успокоенность, бездействие, безжизненность функционально значимых элементов социальной структуры. Это для отдельных людей в обществе эпоха перемен является периодом несчастий, для социальной системы катаклизмы, связанные с отчуждением от человечности, являются единственным способом побороть смертельную болезнь бездеятельности, вынужденная плата за пассивность с целью спасения человеческого рода, принуждение человечества к пробуждению, к активной социальной жизненной позиции.

Не менее важным для характеристики социальных процессов в последнее время является дезинтеграция сложившихся ранее социальных структур и связей, утрата прежней и поиски новой социальной идентификации и соответствующее обострение социальных противоречий. Фактор взаимодействия между центробежными идентичностями ослабевает и потому не способствует выработке обобщенных алгоритмов разрешения противоречий. Незавершенность процесса самоидентификации граждан усиливается незавершенностью самоидентификации этнических групп. А значит и в целом самоидентификация России далека от своего завершения. И представляется большим упрощением сводить эту проблему только к экономическому развитию. Как показывает новейшая история вполне экономически и в правовом отношении благополучных европейских государств острота социальных проблем, связанных с самоидентификацией нации, только начинает проявляться. Научно-исследовательские проекты «истории памяти», «памяти нации», «мест памяти» стремительно наращивают актуальность как в центральной Европе, так и в США. В России в статьях исследователей эта проблема также набирает обороты, однако, попытки её преимущественного сведения к памяти о национальном единстве в Великой Отечественной войне, едва ли способны снять остроту проблем национальной самоидентификации у поколений, значительно удалённых от этого события во времени. Классовой (групповой) идентификации нет ни у обеспеченных, ни у малоимущих. Мелкоклановая идентификация стала основной формой социальной сплоченности небольших групп. Противоречия поэтому пока не в строгом смысле социальные, а смешанные – между отдельными индивидами и клановыми интересами и потому неравносильные. Политические меры государства по сдерживанию разрастания комплекса межэтнических противоречий в России эффективны на коротком временном интервале и лишь в качестве «пожарных» мер. Усиливающиеся миграционные потоки в Россию не уменьшат значимость противоречий национальной само-

идентификации, а последняя сама по себе не преобразуется из политической в культурную. Новые граждане не откажутся от участия в самоутверждении новых политических элит до тех пор, пока им будут принадлежать привилегированные «права» и статусы.

Как ни популярно утверждение о том, что всякая революция сопровождается реформацией, его претензию на универсализм представляется возможным ограничить. Революции меняют официальную идеологию и официально популяризируемые особенные ценности. Их действительная ассимиляция в общественном сознании, сколь прогрессивны они бы не были, занимает несколько поколений. Шекспировское «распадение связи времен» происходит только на поверхности в «политической пене». Термин «культурная революция» многозначен и потому не очень эвристичен, если имеется в виду резкий качественный скачок в общественном сознании. Насколько оправданно говорить о скачке, занимающем несколько поколений. Но именно этот консерватизм ценностей общественного сознания делает социальный процесс предсказуемым. А устойчивость механизмов управления, модернизации и реально существующих ценностей, перекочевавших из советской эпохи в постперестроечную Россию в практически неизменном виде, как раз и свидетельствует о том, что экономическая и политическая революционная модернизация в течение целого поколения не способна изменить реально существующие ценности. В диалектике быстро развивается то, что достигло высокого уровня зрелости. Ценности сознания, отстающего в развитии, меняются тем медленнее и мучительнее, чем ближе к рабскому сознанию находится народ. Поэтому весьма подозрительно звучат призывы о необходимости мобильно реагировать на «исторические вызовы», т.к. противоречия в них содержащиеся вовсе не диалектические. Если «вызовы» исторические, то и реакция будет историческая (в смысле длительности). Проблема национальной идентичности едва ли динамичнее других социальных ценностей.

Социальные противоречия соответственно проявляются в форме единства противоположных ценностных установок и мотиваций. Если раньше вполне соответствовало культурным традициям, когда неподобающе ведущим себя гостям указывали на дверь, то теперь такое поведение хозяев признаётся не толерантным, так как в статус нормы возводятся ценности свободы проживания, свободы вероисповедания, демократии. Проблема здесь конечно не в демократии, как исторически адекватной, но особенной форме регулирования отношений, в возведении в абсолют того средства, которое должно использоваться в ограниченной сфере и исключительно в контексте

конкретной цели, которой с её помощью хотят достигнуть. В противном случае, любые возведенные в абсолютную ценность политические и иные особенные свободы способны обернуться своей полной противоположностью. В результате чего любые ценности, оторванные от реальной системы отношений (а всеобщее только тогда является категорией диалектики, когда содержит в себе особенное, т.е. пределы, в которых оно безусловно) будут выглядеть как неразрешимые противоречия («право наций на самоопределение» против «суверенитета и целостности национального государства» и т.д.).

И.И. Глебова<sup>1</sup> обращает внимание на то, что в России широкое распространение получила, в частности, концепция предопределенности русской жизни ее прошлым. Это во многом верно, но только на том этапе, когда общество большей частью поглощено природными отношениями страха и силовой зависимости и не сформировало надприродные механизмы. На этом этапе статус памяти эксплуатируется для поддержания устойчивости властной системы. Память часто смешивают с бессознательным процессом припоминания, не учитывая что память – всегда активный процесс воспроизведения знаков. По точному наблюдению А.В. Дахина, «один из... индикаторов ослабления социально-исторической памяти системы власти – кризисное протекание процесса политического наследования. Когда структуры социально-исторической памяти находятся в активном состоянии, наследование власти протекает без кризисов. Если же кризисом оборачивается каждый акт политического наследования, то это свидетельствует о развитии склеротических явлений... в процессах воспроизводства русской власти мало значимы институциональные механизмы; властная трансляция происходит через внешнее отрицание традиции («сбросы» социокультурной памяти) и воспроизводство специфических трансляционных конструкций, отличающихся преемственностью на глубинном уровне. Результатом этого являются постоянные кризисы наследования, которые преодолеваются «включением» преимущественно рефлекторной (социобиологической) памяти, имеющей защитно-компенсаторную природу. Этим обусловлена чрезвычайная хрупкость всей системы, где власть имеет системообразующее значение; кризис преемственности может обернуться крахом политического порядка»<sup>2</sup>. В России «традиция

<sup>1</sup> Г л е б о в а И . И . Память русской власти: проблемы хранения, трансляции, актуализации // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2009. № 3. С. 75–118.

<sup>2</sup> Д а х и н А . В . Система государственной власти в России: феноменологический транзит // Полис. 2006. № 3. С.32, 59.

изобретается, подгоняется к настоящему» с одной общей целью – сохранения власти и её легитимация. Для этой цели и «переписывается» история. Говорить о наличии в настоящем прошлого можно только в случае устойчивой трансляции эффективного опыта и моделей, но эффективного не для власти, а для социума в целом, его самоорганизации и самоуправления. В этом смысле традиционализм и социальная память – черты западной модели, а не отечественной. В социуме воспроизводится не память, всегда опирающаяся на интеллект, а бессознательные природные инстинкты, связанные с выживанием, силой и страхом. С помощью новейших технологий властью навязываются крайне архаичные типажи и символы. Историческое сознание не сводится к исторической памяти, но без неё нет и исторического сознания. Такое общество вынуждено возвращаться в античном доисторическом круговороте, воспроизводстве одних и тех же природных доминант, облакаемых в разные маски и насаждаемых с помощью ремейков одних и тех же мифов. В такой ситуации нет и социального запроса «проверить собственные предпосылки». Историография лишь реагирует на эти запросы.

Общество стабилизирует свою идентичность посредством реконструкции собственного прошлого. «История памяти» анализирует значение, которое настоящее придает событиям прошлого, именно придает, а не выявляет. В общественном сознании господствует презентизм. Программа П. Нора лишь показывает, как история дана сознанию современного человека, а не выступает эпистемологической инновацией. Но без определения своих нынешних границ общественное сознание не сможет выйти за его пределы. И уж точно прав Ф. Артог в том, что будущее (в ситуации рокировки нормативной ориентации на дескриптивную в общественном сознании) перестает быть определяющим элементом нашего «режима историчности», оно перестало придавать смысл настоящему и прошлому, в то время как на индивидуальном уровне эта функция не была полностью отвергнута. Когда народ разуверивается в новации он опирается на ретроспекцию. Ценности, не находящиеся в реальности, переносятся на прошлое. Историческая память становится фактором, который мотивирует поведение субъекта. Отсюда попытки её деконструкции, переписывания – «Политика в сфере памяти»<sup>1</sup>.

Индивидуальная память биологически мотивирована и её содержание фиксируется независимо от воли субъекта. Общественная па-

<sup>1</sup> А н т и п о в Г . А . Человек как проект прошлого // Наука. Философия. Общество. Материалы V Российского философского конгресса. Том 3. – Новосибирск: Параллель, 2009. 496 с. – С.182.

мять конституируется. Однако способ конструирования содержания общественной памяти может показать способ социализации, политизации, идентификации, искусственно пропагандируемый социальной средой. Но в общественном сознании эти образы имеют смысл только при высоком уровне социальной сплоченности, социального самосознания. На атомарном уровне такое влияние не является побудителем действия, поэтому в закрытых обществах важным является создание мифа о групповой целостности, который впрочем очень ненадежен (в демократии критическое мышление более эффективно, и существенно распыляет возможности манипуляцией). Образы прошлого – один из популярных способов внедрения мифа об исконном единстве на почве эмоциональности воспоминаний. В социальной памяти происходит выбор ценностей и отбор исторических фактов по значимости. Социальная память не является гомогенной и у разных социальных групп различается.<sup>1</sup> Трагедии вытесняются из коллективной памяти (стихийные бедствия), если не получают коллективной оценки и не вписываются в структуру социальной идентичности.<sup>2</sup> Историческое самосознание («Я» народа) в отличие от исторического сознания не подвержено экзистенциальным трансформациям, стабильно в социокультурном и историческом плане. Память – инварианты исторического самосознания. Результатом этого, согласно И.И. Глебовой<sup>3</sup>, являются постоянные кризисы наследования, которые преодолеваются «включением» преимущественно рефлексивной (социобиологической) памяти, имеющей защитно-компенсаторную природу.

Третьей проекцией проблемы отношения истории и памяти является критический анализ того, как может измениться и изменяется эпистемологический аппарат профессионального исторического исследования. Представляется оправданным согласиться с позицией Б. Калдвелла<sup>4</sup> о том, что преимущественно методология придаёт смысл прошедшей истории научной дисциплины.

<sup>1</sup> Ш н и р е л м а н В . А . Идентичность и политика постсоветской памяти // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2009. № 2. С.209–230. С. 210.

<sup>2</sup> Г у д к о в Л . Д . Массовая идентичность и институциональное насилие // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2009. № 2. С.157–208. С. 171.

<sup>3</sup> Г л е б о в а И . И . Память русской власти: проблемы хранения, трансляции, актуализации // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2009. №3. С.75–118.

<sup>4</sup> C a l d w e l l B . Clarifying Popper // Journal of Economic Literature. 1991. Vol. 29. P.9.

Становление исторического в период неклассической рациональности само имело свою историю, но можно ли назвать эту эволюцию детерминированной? Повышенный интерес к тому, какой должна быть история как отрасль научного знания и общеобразовательная дисциплина, со стороны отечественных представителей власти не является уникальным. Обозрение трансформации историографических традиций Франции с середины XX века представляет для этого объяснения спектр мотиваций. Инновационные мотивы, которые появлялись в историографии в связи с стремительными социокультурными и политическими изменениями, сами по себе относящиеся к консервативным ментальным структурам, приживались крайне медленно и не приводили к существенному угасанию ранее существовавших исследовательских традиций. Скорее происходило лишь внесение уточняющих поправок в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами».

Романтизм первой половины XIX века определил художественную форму, в которой исторические повествования обрели популярность в среде интеллектуалов. После революции популярны лозунги сохранения «памяти нации», «национального культурного достояния». Достояние это понималось достаточно широко в связи с множественными местечковыми традициями, сколь широк был и спектр методологических предпочтений. Больше согласие было в том, что история должна быть объективна, самодостаточна и не обязана служить внешним для неё целям. Общим местом было и предпочтение политической истории. Особую важность приобрели архивы, музеи.

Во второй половине XIX века во Франции отмечается повышенный интерес к национальной идентичности. История по аналогии с Германией стремится стать профессиональной, специализированной научной дисциплиной, опираться на естественно-научные опытные методы, выводить общие закономерности. Позитивная направленность историографии этого периода однако больше постулировалась, чем была реализована, а общие социально-исторические законы не стали её результатом. Позитивность исторического знания сводилась к опоре на документально подтверждённые факты, проверенные непредвзятой критической рефлексией и удаленностью объекта исторического исследования от субъекта временной дистанцией, превышающей пятьдесят лет – нормы, до сих пор являющиеся в большинстве исследовательских коллективов классическими. Особую значимость приобрели методики осторожной обработки и анализа документов. Осознание существенной субъективности исторического познания не влекло одностороннего отказа от возможности

претендовать на объективность. Историография, стремящаяся избежать метафизики, умозрительных обобщающих гипотез, была событийной, описательной, теоретически малопроблемной, с явным тяготением к политической истории.

С начала XX века возрастал интерес к социально-экономической истории. Пафос воспитательной функции истории, призванной сплавлять нацию, внушать уважение к государству, сосуществует вместе со стремлением к максимальной объективности и верой в прогресс истории. Этот вектор истории и является главным связующим звеном прошлого с будущим для «событийной истории». Особое внимание уделяется истолкованию истории в учебниках (воспитательный аспект). Пример из «ведения» к «Апологии истории» М. Блока тому яркое свидетельство. П. Уваров приводит показательную мотивацию историка того периода «По мнению основателя «Исторического журнала» Габриеля Моно, историк является вместилищем традиций своего народа и традиций всего человечества. Будучи ремесленником, работающим над национальной памятью, историк не может и не должен от нее отстраняться. Напротив, он «лучше всех осознает тысячи нитей, которые связывают нас с нашими предками». Любовь к Родине, поддержанная наукой, порождает не слепой и агрессивный национализм, но служит «прогрессу всего рода человеческого».<sup>1</sup>

Ситуация медленно изменяется после Первой мировой войны. «Недаром Поль Валери осудил историю за то, что она помогает национализму политиков, который оборачивается войнами, и назвал ее «самым опасным продуктом, вырабатываемым химией человеческого интеллекта». Французские историки не могли оставаться такими же, какими были до войны»<sup>2</sup>. В это же время оказывает влияние на позицию исследователей появление новой научной парадигмы. Молодое поколение исследователей (психолог Ш. Блондель, социолог М. Хальбвакс, историки М. Блок, Л. Февр, Ж. Лефевр и др., объединившиеся в 1929 г. в Страсбурге в 1929 году вокруг журнала «Анналы экономической и социальной истории») вносит важные программные коррективы, которые были восприняты лишь спустя десятилетия. Их цель – «превратить историю в социальную науку, отвечающую на вопросы, которые ставит время». Только после Второй мировой войны «истории Броделя удалось потеснить в этой

<sup>1</sup> Уваров П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. № 5 (19). 2004. Цит. по Monod G. Du progres des etudes historiques en France depuis le XVIe siecle // Revue historique. 1876. № 1.

<sup>2</sup> Уваров П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

конкуренции столь серьезных соперников, как социология Жоржа Гурвича и структурная антропология Клода Леви-Строса. Борьба велась не только за деньги фондов, но и за право истории выступать в качестве дисциплины, объединяющей гуманитарные науки».<sup>1</sup> Концепции Ф. Броделя о 3 временных перспективах исследования истории («большой длительности», «средней протяженности» и истории кратковременной, событийной) и Э. Лабрусса о 3 уровнях (экономика, общество, цивилизация), в которых история развивается неравномерно, стали переходом к истории как социальной науке. «Мастерство историка проявлялось теперь не столько в способности осуществить внешнюю и внутреннюю критику документа, сколько в разработке научно обоснованного вопросника, при помощи которого можно было бы формализовать материал, удалить все случайное, единичное, связанное с локальным контекстом, а затем построить серии данных, относящиеся к истории «большой длительности», анализировать социальные структуры, экономические процессы. Такая история, изобилующая таблицами и графиками, считалась «научной», в отличие от истории традиционной – «историзирующей», «событийной»... Когда же за границей произносили слова «история a la francaise», то было ясно, что речь идет о «социальной», т. е. о «научной», истории»<sup>2</sup>.

В 60–70-х годах Франция перестала быть колониальной империей, из истории начала уходить идея прогресса, появилась антропологическая проблематика, исследование экзистенциальных аспектов обыденности. Теперь уже антропология Леви-Строса опережала по популярности «Анналы» Ф. Броделя. «Историки нового поколения Ж. Ле Гофф, Ле Руа Ладюри, Марк Ферро, Андре Бюргер и др., возглавившие новую редакцию «Анналов» («третьи Анналы»), сравнительно со «вторыми Анналами» больше увлекались историко-антропологическими сюжетами, изучением ментальностей, стремились безгранично расширить «территорию историка». Они усилили тенденцию, давно присущую «Анналам»: еще Марк Блок писал, что историк должен не строить для себя башню из слоновой кости, где он вдали от шума современности будет «объективно» изучать прошлое, но, напротив, интересоваться вопросами, волнующими современников, и задавать эти вопросы изучаемой эпохе, выступать в

<sup>1</sup> Уваров П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

<sup>2</sup> Уваров П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

роли переводчика в диалоге прошлого и настоящего, чтобы помочь обществу лучше понять себя»<sup>1</sup>. Интерес этот однако был гипертрофированным (Ж. Дюби) и был охарактеризован Ф. Броделем как разрыв с традицией исследования «тотальной истории», приведший к «распылению объекта» истории. Отказ от политических, «воспитательных» функций истории сделал её ненужной в средней школе.

История распалась на множественную память разных социальных и этнических групп. «Эпистемологические дискуссии 70-х годов... поставили под сомнение утвердившееся понимание истории как социальной науки, ... существование объективных социальных структур и понятий,... Исторической реальности, которую ученому лишь надлежит старательно описать, в готовом виде не существует. История не наука, и она никогда не сможет ею стать, если только не перестанет быть самой собой. Удел истории – не знание, претендующее на научность, а повествование и рассказ, удовлетворяющий любознательность. Историки должны налаживать междисциплинарные связи не с социологами, а с философами, задаваясь вопросами об эпистемологических основаниях своих теоретических практик... что историческая реальность не воссоздается историком, а конструируется им, ...осуществляется посредством языка»<sup>2</sup> (Р. Арон, М. Фуко, П. Вейн ).<sup>3</sup>

«Четвертые Анналы» 90-х годов склонились в пользу социального атомизма, «сиюминутной истории», событийности, политической истории. «Но самой существенной новацией стало осознание историками важности проблемы исторической памяти. Конечно, с феноменом памяти историк сталкивался всегда. Но прежде его интересовало главным образом то, насколько хорошо автор исторической хроники или мемуаров запомнил события. Историк делал необходимую поправку на ошибки памяти, на непредумышленную забывчивость, а затем работал уже не с памятью, а с пресловутым «историческим фактом» как таковым. Теперь же память о событии оказалась для историка не менее, а подчас и более интересной, чем само событие. Еще в первой половине XX века Морис Хальбвакс увидел в коллективной памяти элемент, конституирующий идентичность социальной, профессиональной или любой другой (например,

<sup>1</sup> У в а р о в П . История, историки и историческая память во Франции //Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

<sup>2</sup> У в а р о в П . История, историки и историческая память во Франции //Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

<sup>3</sup> В е н П . Как пишут историю М., 2003.

этнической) группы. Начиная с 70-х годов память различных групп все больше притягала на внимание общества: каждая из этих групп требовала рассмотреть, наконец, и ту версию истории, которую считала достоверной она»<sup>1</sup>.

Человеческое тело меняет все атомы своего организма в течение 10 лет. Возникает вопрос: почему, рассматривая свою (своего тела) фотографию 10-летней давности, мы говорим, что это были мы. Объективные основания для такой убежденности – генетический механизм, воспроизводящий тело с теми же характеристиками. Субъективным основанием является непосредственная память о себе и своём теле и опосредованная память, когда мы на слово своих родителей и знакомых верим, что это были мы много лет назад. Социальная идентификация почти всегда опосредована верой посредникам.

Основаниями такого интереса к памяти называли:

- «стремительное изменение демографического ландшафта» (урбанизация);
- нефтяной кризис середины 70-х годов. (П. Нора)
- глобализация и утрата традиционных форм сохранения памяти и национальной идентичности.

««Франция – это память», – так ответил на вопрос, поставленный Броделем, Пьер Нора, выступивший инициатором масштабного и одного из самых успешных исторических проектов последнего времени: семитомного издания «Места памяти» (1984 – 1992)». К его реализации было привлечено около ста историков ... Пьер Нора ставил целью своего проекта вернуть память под контроль историков в условиях, когда прошлое становится непредсказуемым (отрадно, что «страной с непредсказуемым прошлым» называют не только Россию) и слишком зависящим от императивов настоящего. ...Первые тома «Мест памяти» составлялись в разгар «эпохи сомнений» – тогда они мыслились как работа по деконструкции отживших стереотипов национального мифа путем раскрытия механизмов их конструирования и функционирования (Смею высказать предположение, что в настоящее время этот этап в основном пройден. Из номеров «Анналов» последних нескольких лет почти исчезли «теоретические» статьи, которые предлагали бы какой-нибудь очередной «поворот». Историки пришли к осторожному консенсусу по вопросу об объективно-

<sup>1</sup> У в а р о в П . История, историки и историческая память во Франции //Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

сти истории. Работа по постоянному пересмотру «национального исторического мифа» стала уже привычной и выставляемой на обозрение самых широких кругов читателей)... история множасьихся способов его использования.»<sup>1</sup>. Возродился поиск национальной идентичности.

Память имеет свои законы и противоположна истории. Память не интересуется истиной, проблема подлинности источников, она «в любой момент готова подмять под себя историю, «меморизировать» ее (думаю, историографические процессы на постсоветском пространстве хорошо иллюстрируют этот тезис). Но и научная история, подвергающая прошлое беспощадному критическому анализу, убивает память. Чтобы разрешить эту коллизию, историк должен работать как профессионал, прослеживая процессы, происходящие с памятью, осторожно модифицируя ее в соответствии с данными науки, и тем самым трудиться над уточнением национальной идентичности, сообразуя ее описание с изменившимися условиями. (Историк берет на себя функции «распорядителя национальной памяти». А способы его воздействия на память общества многообразны: от преподавания, изменения школьных программ и популяризации научных исследований до различного рода исторических праздников и коммемораций, использования медийных средств и выступления как эксперта на судебных процессах. Но главное не в этом. Кошмар взаимного разрушения памяти и истории может перестать восприниматься как кошмар. Те или иные формы давления существовали и будут существовать, но если ты отдаешь себе отчет в их существовании, то это уже важный шаг в сторону свободы. Важно также, что сами историки в большинстве своем не только осознали сложность взаимодействия памяти и истории, но и пытаются приучить к этому общественность. Примером может служить совсем новая книга: *Sous la dir. d'Alain Corbin. Paris: Seuil, 2005*. Она построена на основе списка памятных дат французского национального мифа: воспроизводится картинка из школьного учебника начала XX века и краткое резюме из того же учебника, а следом дается комментарий современного историка, показывающего, как сегодня наука трактует это событие»<sup>2</sup>.

А) Философия всегда базируется на вопрошании о собственных основаниях. Философия, мыслящая об истории, до тех пор пока она

<sup>1</sup> У в а р о в П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. № 5 (19). 2004.

<sup>2</sup> У в а р о в П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. № 5 (19). 2004

не готова достигнуть конвенций об онтологии истории, будет мыслить об исторической способности (интенции) сознания. Это значит, что она не минует этапа критической рефлексии, соответствующего проекту исследования границ и возможностей познавательных способностей И. Кантом, но уже в контексте не исследованной классиком исторической способности, (с той лишь разницей, что трансцендентальные способности подвергаются критике не со стороны всякого мыслящего существа, а со стороны общезначимых регулярностей общественного сознания). Достижению этой задачи предшествует анализ эмпирически пред-находимых мотиваций исследования истории как на индивидуальном уровне, так и на уровне профессиональных корпораций историков.

(Справедливо ли такое видение исследовательских предпочтений требует уточнения).

Цели, которые ставятся исследователями истории частично могут быть упорядочены сведением к 3 основным темпорально определенным интенциям, которые обнаруживают лишь относительную обособленность:

1) Реконструкция прошлого, каким оно было «на самом деле», назовём условно «объективизм»; (интенция хотя и существенно ослабленная нынешним скептическим отношением к её реализуемости, но как момент присутствующая во всех претендующих на значимость историографических теориях, если они вообще претендуют на научность, а не мифотворчество. Оправданная критика «объективизма» привела лишь к ограничению его претензий в силу отсутствия количественного критерия, указывающего на то, какая доля исторического знания не вызывает сомнения, но трудно представить себе историка любого направления, который бы не был убежден, что какая-то доля его убеждений всё же соответствует пресловутому, «что было на самом деле». Но при этом, неуверенность в адекватности полученной историком «объективной» картины прошлого в связи с изменившимися социокультурными условиями, в которые погружен исследователь прошлого, не может привести автоматически к отказу от надежды на получение в конечном итоге корреспондентского знания о прошлом. Скептицизм в отношении результатов и их критериев логически не может привести ни к отказу от цели получения объективной картины, ни к отказу от ранее существующих теорий, претендующих на эти цели). Однако в связи с господствующей скептической конвенцией

обществоведов (за редким исключением, Н.С. Розов<sup>1</sup>) в отношении методологии и критериев «объективности» исторического знания, ещё предстоят прикладные исторические исследования с использованием разрабатываемого органа макроисторического знания. Согласно М. Хайдеггеру, «история есть только там, где выносятся изначальное решение о существовании истины»<sup>2</sup>.

2) Избирательная интерпретация прошлого в той степени, в какой оно помогает понять настоящее (М. Фуко). Условно объективно-субъективный «конструкционизм», основанный на изучении изменения интерпретаций прошлого в зависимости от изменения социокультурных доминант (фигур речи, моделей описаний и объяснений, «игры властных отношений») (Ю.П. Зарецкий<sup>3</sup>, опираясь на «конструкционистский» проект французских историков «Места памяти», реализованном под руководством Пьера Нора<sup>4</sup>). Цель при этом постулируется в настоящем – понимание памяти как «управления прошлым в настоящем»: «как в конкретных обществах создаются, интерпретируются, репрезентируются, контролируются, регулируются и распространяются представления о прошлом, а также о том, как эти представления связываются с такими понятиями, как «объективность», «достоверность», «истина», «власть»»<sup>5</sup>. Топосы – интеграторы, субстрат конструирования коллективной памяти, «символические объекты» от местностей до ритуалов, формирующие групповую идентичность, соединяющие людей в народ, нацию, независимо от классово-политической, профессиональной и принадлежности (напр. Жанна д'Арк)<sup>6</sup>. Проблемным в этом анализе оказывается противоречивая интерпретация самих символов. Символы (и об этом частично свидетельствуют телевизионные проекты их презентующие) могут нести как противоположно оцениваемые

<sup>1</sup>Розов Н.С. Историческая макросоциология: методология и методы: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2009. 412 с.

<sup>2</sup>Heidegger M. Wie wenn am Feiertage...// Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 4. Erläuterungen zu Holderlins Dichtung. Frankfurt a. M., 1981, S. 76.

<sup>3</sup>Зарецкий Ю.П. Истории, которые у нас не пишутся // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2009. № 5.

<sup>4</sup>Нора П. Как писать историю Франции? // Франция-память. С. 92–93. **Позже и в других странах: I luoghi della memoria / Ed. M. Isnenghi.** Vol.1–3. Roma-Bari, 1987-1988; **Deutsche Erinnerungsorte / Hrsg. E. Francois, H. Schulze.** Bd. 1–3. München, 2000; **Dansk identitetshistorie / Ed. O. Feldbaek.** Kopenhagen, 1991/1992.

<sup>5</sup>Зарецкий Ю.П. Истории, которые у нас не пишутся // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2009. №5.

<sup>6</sup>«Места русской памяти» представлены в 3 томнике Ж.Нива. Les sites de la memoire russe / dir. G. Nivat. T. 1 : Geographie de la memoire russe. P., 2007.

качества (А. Невский, Александр III, В.И. Ленин, И. Сталин и т.д.), так и повышенная инициатива по их популяризации существенно сдвигает эту историческую интенцию от настоящего в сторону исторической «объективности», «истинному» облику символов. Это особенно актуально для России, в которой поддержка государством любого проекта вызывает подозрение в его политической ангажированности и субъективности, т.к. «институциональные основания производства исторического знания с советских времен у нас мало изменились. Точнее даже будет сказать, не производства, а воспроизводства»<sup>1</sup>. Кроме того, проект «мест», «символов» памяти накладывает и ограничения на выбор «претендента» в символы, касающееся обязательного временного интервала, гарантирующего отсутствие живых свидетелей, на своём опыте оценивших его влияние;

3) прошлое как основание для прогнозирования тенденций будущего. Интенция в равной мере опирающаяся на первые две традиции.

При этом на исследователей накладываются субъективно ориентированные экзистенциальные мотивации: 1) найти в прошлом рецепты выживания в настоящем; 2) подвести идеологические основания под собственные политические практики; 3) выявить возможные исторические регулярности с целью уверенного в завтрашнем дне, управляемого, свободного «взгляда в будущее». Соответственно, каждая интенция и мотивация изучения прошлого задаёт методологический инструментарий исторического анализа. Этот определяемый целями и задачами орган подбирается в том инструментарии, который уже пред-дан во всегда уже наличной культурной традиции эпохи. (О творческой разработке инновационной методологии представляется возможным говорить только в очень относительном, ограниченном смысле).

Все выделенные интенции можно рассматривать как задачи разной степени общности и совмещать в одном исследовании.

В) Существенная трансформация историографических эпистемологических моделей происходила параллельно и, выражаясь языком математической теории множеств, едва ли не во взаимно однозначном соответствии с изменением философских фундаментальных метафизических установок. В связи с чем, вовсе не представляется искусственным проведение анализа историографических познавательных моделей в системной связи с трансформацией эпистемологических установок и типов рациональности в философии. (Как

<sup>1</sup>Зарецкий Ю.П. Истории, которые у нас не пишутся.

пример, конструкт «восточная Европа» выводится из идейного наследия эпохи Просвещения Л. Вульфом<sup>1</sup>).

Анализ методологии исторического исследования на предмет её соответствия парадигмам науки и рациональности говорит в пользу того, что историография вполне последовательно приближалась к современному постнеклассическому этически и экзистенциально нагруженному инструментарию. Базирующаяся на индуктивных вероятностных выводах исследовательская программа М. Блока вполне сочетается с ориентацией на метафизику ценностей. «История вправе назвать в числе самых бесспорных побед то, что она, разрабатывая свои технические приёмы, открыла людям новую дорогу к истине и, следовательно, к справедливости»<sup>2</sup>. Оценочные суждения при этом относятся не к участникам минувших событий, а к современникам и исследователям, которые не должны осуждать предков за несоответствие современным нормам.

Идейной предпосылкой для постановки проблемы в рамках философии науки (на материале историографии) служит получившая широкое распространение концепция постнеклассической рациональности, которая помимо актов конституирования смыслов, включенности сознания в картину мира и к необходимости осмысления его места и роли в познанном мире, описание социального объекта соотносится с условиями познания, в число которых входят как эмпирические средства познания, так и средства теоретические (неклассический тип), предложила включать ценностные и нормативные характеристики бытия субъектности социального познания с учётом структур повседневного мира, таким образом неклассический тип рациональности расширился до постнеклассического типа рациональности (В.С. Степин). Позиция анализа научного знания в рамках новой парадигмы была распространена как всё, включая естественно-научное знание, что не могло не отразиться и на методологии исторического исследования. Задача исследования того, как трансформировался анализ конкретно-исторических методов, критериев и практик в связи с изменением в современном идеале рациональности, который часто называют «четвёртой научной революцией» и была определена как основная и вынесена в качестве обозначения проблемного поля – «трансформации методологии ме-

<sup>1</sup> В у л ь ф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003 [Stanford, 1994].

<sup>2</sup> Б л о к М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.78.

таисторического исследования». (Философия по сути является метаисследованием – исследованием исследовательских парадигм в их зависимости от содержания).

С) Общим местом в специальных исследованиях является констатация того, что историческая память в значительной степени не свободна от влияния политической, властной конъюнктуры, социокультурной мифологии и узкой корпоративности исследовательских традиций. Но это не мешает, однако, тому факту, что беспристрастный интерес к историческому исследованию в статусе науки не отвергается за его устарелостью и невыполнимостью каждым новым поколением профессиональных историков, не приводит к неограниченному росту несводимых друг к другу интерпретаций по мере увеличения хронологической дистанции, не вызывает всё большего чувства неприятия и сокращения числа людей, рискнувших посвятить себя, на первый взгляд, безнадежному делу проникновения в относительные модусы времени. Скорее наоборот, чем большее количество препятствий обнаруживают философы, историки, социологи, политологи или культурологи к объективному раскрытию процесса исторической социальной реальности, тем более привлекательным оказывается непредвзятый интерес к историческому исследованию. Не оказывает существенного влияния на эту потребность и периодически обостряющийся политический интерес к «переписыванию» истории, так как в конечном счёте он может опираться лишь на крайне малоэффективную методологию, рассчитанную на кратковременный эффект: обнаружение «новых» обстоятельств, «неизвестных» фактов, «надёжных» свидетелей. Но сколь мало в криминальном расследовании такие свидетельства могут выступать в функции прямых доказательств и должны опираться на мотивы, ценности и устойчивые характеристики подозреваемого, столь неотвратимо и историческое «расследование» рано или поздно соотнесёт фактические свидетельства с регулярно воспроизводимыми устойчивыми характеристиками действующего в истории социума и его всеобщими и особенными культурными и общечеловеческими константами. Такие константы и являются основным содержанием социальной памяти.

В исследовательском проекте поставлена стратегическая задача – попытаться взглянуть на историческое исследование через призму механизмов и структур социальной памяти в их становлении, определить эвристические перспективы, которые предоставляет этот ракурс для историографического исследования.

---

## ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ

Марк БЛОК

### Коллективная память, традиция и обычай касательно недавно вышедшей в свет книги<sup>1</sup>

*Bloch M. Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent //Revue de synthese historique. 1925. T. 40. P. 73—83.*

Статья М. Блока «Коллективная память, традиция и обычай касательно недавно вышедшей в свет книги» в «Журнале (обзоре) исторического синтеза» является его первой реакцией на публикацию книги М. Хальбвакса «Социальные рамки памяти» (1925).

(Нумерация страниц французского издания статьи М. Блока выделена квадратными скобками в начале соответствующего фрагмента. Ссылки М. Блока на французское издание книги М. Хальбвакса выделены круглыми скобками).

(перевод с французского Л.В. Горпынченко, Н.А. Кураева)

[Р. 73] Необычайно богатое и яркое произведение, которое я представляю читателям *la Revue de Synthèse*, вероятно, возникло на основании наблюдения, в первую очередь выполненное автором по отношению к себе, и которое он затем подтвердил путём изучения литературы о сновидении. Вот она, такая, краткое изложение которой мы находим на страницах 48 и 49: «Мы не можем повторно пережить нашу мысль во время сновидения;...если наши сны успешно используют картинки, которые полностью имеют вид воспоминаний, это — состояние фрагментов, отдельных элементов реально пережитых сцен; [...] никогда ни одна целая сцена, пережитая ранее, снова не появится перед глазами сознания во время сна». Если М. Хальбвакс (можно было бы это предположить, основываясь на этой исходной точке) находился на территории индивидуальной психологии, исто-

<sup>1</sup> Морис Хальбвакс, Социальные рамки памяти, 1 том в 8 издании, Париж (Алкан), 1925 (Работы социологического года).

рик, который пишет данные строки, ограничил бы свои амбиции только прочтением книги и, конечно, не набрался бы смелости отдать себе в этом отчет. Но М. Хальбвакс является социологом по профессии и по складу ума. Содержательный журнал, который я только что упомянул, привел его к созданию всей теории памяти, рассматриваемой с точки зрения коллективной психологии — теории, которая, что можно было предугадать, имеет «двойное лицо»: с одной стороны, автор стремится выделить «всё, что вносится социального в индивидуальные воспоминания» (р. 199); с другой стороны, он изучает коллективную память в прямом смысле этого слова, что значит сохранение общих воспоминаний для всей группы людей и их влияние на жизнь обществ; путём применения естественного спуска (*pente naturelle*), [Р. 74] упомянутое последнее исследование объединяет проведенные ранее М. Хальбваксом опросы, в известных работах, касательно понятия социального класса.<sup>1</sup> Очевидно, что вторая часть (главы V-VII) почти аналогична вопросам, которые будут рассматриваться в настоящем очерке. Однако я должен начать с краткого изложения заключений четырех первых глав; хотелось бы, чтобы Вы меня извинили, если этот достаточно скупой анализ приведет только к возникновению незаконченной мысли об очень тонко выраженных развитиях.

Отмечая, что видеть сны — никогда не означает вспоминать, М. Хальбвакс не мог пропустить и не догадываться, что излагаемый таким образом факт находился в полном противоречии с бергсоновской психологией. Если это в действительности правда, как утверждает М. Бергсон, что «истинная память» — отличается от памяти-привычки — «сохраняет и выстраивает по очередности одни после других все наши состояния по мере их появления», и если также допустить, что наше прошлое не находится в нас в обычных условиях почти полностью спрятанное, и что ввиду того, что оно «подавлено необходимостями настоящего действия», каким образом понять, что во время сна, то есть в тот момент, когда мы совершенно теряем интерес к выполнению эффективного действия<sup>2</sup>, память делает нас полностью бездейственными? В общем понимании вся теория, которая рассматривает память как функцию, являющуюся в основном индивидуальной, не сможет никогда объяснить, что дверь в сны не откроется для воспоминаний.

<sup>1</sup> Рабочий класс и уровни жизни, Париж 1912; Замечания касательно социологической проблемы классов в *Revue de métaphysique et de morale* (Журнал метафизики и морали).

<sup>2</sup> Материя и память, 20 издание, стр. 164 и 167. (Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч. в 4-х т. М., 1993. Т. 1.)

Не рассматривая природу памяти, перейдем наоборот к точному анализу природы сновидения. Невозможно отрицать, что «именно в сновидении разум наиболее удален от общества» (р. 52). Не является ли это точной причиной, почему он исключает воспоминание? Гипотеза полностью правдивая, но для данной простой гипотезы; мы будем стремиться подвергнуть её испытанию опытом, изучая способ существования прошлого в сознании. Однако отметим, что «работа памяти» включает в себя раскрытие великой духовной деятельности; вспоминать – это не значит присутствовать в [р. 75] качестве пассивного зрителя при появлении картинок, которые, сохраненные в скрытых зонах, снова бы поднялись к более яркой поверхности; это, в сущности, является восстановлением прошлого. Данная работа по восстановлению возможна только потому, что рассудок обладает для её выполнения средствами действия, которые для него подготовлены другими рассудками. «Все воспоминание, если бы он было личным, соотносится со всей совокупностью понятий, которые являются большей частью других, которыми мы владеем, с людьми, группами, местами, датами, словами и формами языка, а также с рассуждениями и идеями. Это значит – со всей материальной и моральной жизнью обществ, которые мы составляем или частью которых мы являемся» (р. 51-52). Эти категории социального происхождения позволяют нам локализовать картинки прошлого во времени и в пространстве, назвать и понять их. Является ли это – только в качестве примера – функцией в высшей степени более социальной, чем язык? И, кроме того, которая видит только память, в значительной степени находится в зависимости от внутреннего слова? Этих вспомогательных коллективных средств – памяти нам никогда в действительности не хватает; даже во сне некоторые из них ещё находятся там, потому что в сновидении «контакт между обществом и нами не совсем отменен; мы произносим слова, мы понимаем их смысл» (р. 376); но они существуют только в небольшом количестве и несовершенным способом; вот почему в снах картинки прошлого появляются только фрагментарно, недостаточно связанными между собой и с остатком прошлого, чтобы быть признанными как воспоминания. Факты, которые мы вспомним, могут быть очень личными; рамки памяти, без которых воспоминания не существуют в качестве таковых, всегда пополняются обществом. Индивидуальная память находит необходимую для себя точку поддержки в коллективной памяти; в некотором смысле

можно сказать, что она является только «частью и только аспектом памяти группы» (р. 196)<sup>1</sup>.

[Р. 76] Но индивидуум принадлежит только к одной группе; каждый из нас входит в более или менее значительные общества, большие или малые, от которых мы зависим, как это очевидно, в наших ментальных действиях на вид самых интимных. Однако теперь следует – и это, как упоминалось, является предметом второй части книги – перейти к анализу различных видов коллективной памяти. М. Хальбвакс приложил усилие в своем исследовании касательно трёх из них – семейная память, память религиозной группы, память класса. Само собой разумеется, что выполняя данное исследование, он абсолютно не претендовал исчерпать все возможные формы социального воспоминания; различные изученные «памяти» были выбраны в качестве примеров особенно instructивных. Но с этой точки зрения можно сожалеть, что юридическая память, «обычай» могли быть оставлены в стороне. У нас будет возможность вернуться к данному пропуску далее.

Не будем следовать за М. Хальбваксом во всех деталях его опросника, состоящего из трёх частей, избоблюющего всякого рода замечаниями и размышлениями, чтобы позволить себе сократить в пределах нескольких строк. Выделяется основная мысль, и она доминирует. Вся социальная группа берет своё духовное единство одновременно от традиций, которые составляют сам материал коллективной памяти и от «идей или условностей, которые являются результатом знания настоящего». Но между данными двумя видами коллективных представлений не существует противоречия в том, что некоторые авторы хотели открыть; на самом деле они существуют одна от другой; общество интерпретирует или даже знает прошлое только через настоящее, и к тому же настоящее имеет для него конкретный смысл и эмоциональную ценность только потому, что после него просматривается некоторое продолжение. Возьмем, например, религиозное христианское общество: почитание приверженцев «питается» одновременно от постоянно обновляемых обрядов и от воспоминаний, в частности от тех, которые касаются жизни Спасителя; но большая часть обрядов являлась бы только пустыми формами,

<sup>1</sup> Следует добавить, что данные заключения основываются не только на изучении сновидения, а также на изучении афазии; «ограничение» области памяти у страдающих афазией приближен и отличается от аналогичного ограничения у спящего человека, в обсуждении которых сами некомпетентные люди, все, заявляя неспособными сформировать мнение касательно деликатной точки зрения, могут только любоваться тонкостью и изобретательностью. (Глава II).

если бы они не ознаменовали или не символизировали путь Бога или, дополнительно, его святых; и к тому же историческое богатство или легендарное христианства передаётся от поколения к поколению посредством обрядов. В целом, можно сказать (возможно, немного преувеличивая мысль М. Хальбвакса), что месса является социальным актом преимущественно ввиду того, что она неразрывно объединяет характер памятной церемонии тайной вечери с характером реального жертвоприношения и действительно эффективного.

[Р. 77] Также, семейное чувство существует только в некоторой степени абстрактном понятии существующих связей родства – таковым является мой отец, мой брат и т.д. – и в воспоминаниях, которые позволяют каждому из нас видеть за этими именами папы или брата реальности плоти. Также, ещё весь социальный класс черпает в настоящем осознание своего существования одновременно в виде технической общей деятельности, для всех своих членов и в концепциях или чувствах, подпитываемых знанием, более или менее спутанным или воображаемым, прошлого группы. Как к тому же удивляться, что в коллективном менталитете переход идей, рожденных от восприятия настоящих условий, к воспоминаниям выполняется, можно сказать, почти незаметно? Коллективная память, как и индивидуальная память, не сохраняет прошлое в точности; она его находит, или непрерывно восстанавливает, исходя из настоящего. Вся память – это усилие.

Легко будет признать всё то, что этот общий вид имеет в изобилии. В частности, читатели, которые ещё представляют в уме красивую работу, в которой ранее М. Хальбвакс пытался определить рабочий класс, найдут в его новой книге счастливое распространение его мысли, которая развивается без противоречий. Если он продолжает считать – без сомнения, имея на это полное основание, – что «в городских обществах то, что отличает рабочий класс от других групп – это тот факт, что рабочим индустрии представлены условия их работы в контакте с вещами, а не с людьми» (р. 331), сегодня он бы, вероятно, засомневался в изучении данного класса, как и любой другой, абстрагируясь у своих членов группы от всего представления традиционного порядка. Кроме того, это примирение, если мы можем так говорить, традиции с настоящим может восприниматься как включающее в себя определенные заключения практического и политического порядка, что будет достаточно указать одним словом, не настаивая на этом, ввиду этого, видимо, М. Хальбвакс отказался быть вовлеченным на эту территорию. Очевидно, потому что взгляд очень общий, взгляд такого рода бу-

дет обсуждаться только при проверке применения в частных случаях. Нам будет позволено в данном *Revue* рассмотреть его, в первую очередь, как ведущую гипотезу для предложения историкам, [р. 78] особенно тем, кто осмелится взяться за изучение, до сегодняшнего момента слишком небрежного, социальных классов. Я могу только представить несколько замечаний, не пытаясь их выстроить в определенном порядке.

Каким образом коллективные воспоминания переходят от поколения к поколению в одной группе? Решение, вероятно, зависит от рассматриваемой группы; но вопрос очень серьезный, чтобы им пренебречь. На мой взгляд, М. Хальбвакс ничего не сделал, кроме как слегка его затронуть, чаще всего ограничиваясь формулами финализма вместо ответа, и если я посмею сказать о нем немного неясном антропоморфизме: «общество стремится устранить от своей памяти все, что могло бы разъединить индивидуумов...» (р. 392); в некоторых моментах общество «должно привязаться к новым ценностям, это означает, что лучше опираться на другие традиции в связи со своими необходимостями и текущими тенденциями» (р. 358). Подобный пропуск у автора, также разбирающимся в социальной жизни, действительно подмечает, что делаются попытки искать объяснение вне его рамок, в некоторых привычках метода и языка; я бы попытался об этом узнать, чтобы отвечать за словарь Дюркгейма, характеризующий применением, с эпитетом «коллективный», терминов, заимствованных из индивидуальной психологии. Не потому что я с моей стороны не вижу никого серьезного возражения говорить о «коллективной памяти» как о коллективных «представлениях» или о «сознании». Эти слова являются экспрессивными и простыми, и их употребление мне кажется намного более обоснованным. Однако при условии: то, что мы не предполагаем под названием коллективной памяти, например, именно такие аналогичные реалии под названием индивидуальной памяти. Каким образом индивидуум сохраняет или находит свои воспоминания? Каким образом общество сохраняет или находит свои? Античная психология без затруднений рассматривала первую из этих двух проблем как полностью независимую от второй; М. Хальбвакс – напротив, с великолепной ясностью показывает, что идея индивидуальной памяти, абсолютно отделенной от социальной памяти, представляет собой чистую абстракцию, почти лишенную смысла; его книга сочетается, таким образом, со всей серией других работ, которые в течение последних лет нас приучили к поиску части «социального» в «индивидууме»; сегодня, вероятно, влияние Дюрк-

гейма должно развиваться особенно интенсивно, основываясь на истинно психологических изучениях. [Р. 79] Но, чтобы быть тесно связанными, вышеизложенные две проблемы не являются в некотором смысле менее различными; и их данные различны. Для того, чтобы социальная группа, продолжительность которой превышает жизнь человека, «вспоминала», недостаточно того, чтобы различные члены, входящие в её состав, в определенный момент сохраняли в своих умах представления касательно прошлого группы; также необходимо, чтобы самые старые члены не отказывались передавать эти представления более молодым. Мы свободно произносим слово «коллективная память», но не следует забывать, что как минимум одна часть феноменов, которые мы обозначаем таким образом, являются просто фактами общения между индивидуумами.

Важность примера, на мой взгляд, будет эффективнее представлена, если он будет связан с изучением данных передач. Что касается «семейной памяти», М. Хальбвакс в порядке исключения посвятил несколько слов связи этого порядка. Речь идёт о бабушке и дедушке. «Именно фрагментами – говорит он – и через промежутки времени данной семьи, они передают младшим детям свои воспоминания» (р. 233–234). Я бы охотно подумал, что в большинстве случаев роль бабушки и дедушки, безусловно, более важная и более интересная. Рассмотрим, например, сельские общества. Очень часто случается, что в течение дня, в то время как папа и мама заняты в полях или выполняют работы по дому, младшие дети остаются под присмотром «старших» и от них, в равной или даже большей степени, чем от самих родителей, они получают наследие всякого рода обычаев и традиций. Необходимо задать себе вопрос, в древних сельских обществах до журнала, начальная школа и военная служба, образование более молодого поколения более старшим поколением, не способствует ли это в значительной степени поддержке явно традиционного склада ума? В городах условия профессиональной и домашней жизни, без сомнения, в одинаковой степени определяют это непрерывное вторжение среднего поколения; атмосфера интеллектуального обновления в некотором роде определяется как более благоприятная.

[Р. 80] Изучая коллективную религиозную память, М. Хальбвакс написал следующее (р. 296): «Изначально, без сомнения, обряды отвечали необходимости ознаменовать религиозное воспоминание, например у евреев, пасхальный праздник и у христиан, религиозную общность. Верно ли это? Несомненно, с давних пор и в наши дни,

набожный израильтянин, который ест пасхального ягнёнка, не намеревается праздновать воспоминание предков, которые спасались бегством перед Фараоном, или католик, который был немного знаком с тайнами своей религии, видя священника, поднимающего жертву, не думает о евангельском обещании: «Берите, это – моё тело; это – моя кровь». Такова, несомненно, настоящая интерпретация этих обрядов, традиционная на сегодняшний день; но не смешивается ли она в действительности с их первоначальным значением? Многие историки религий согласны с ней. Необходимо напомнить, что идея божественной общности ничего не имеет специально христианского; в первом веке нашей эры она составляла часть общего достояния, на берегах Средиземного моря, для очень большого количества людей; она не берет своё начало от рассказа о Тайное вечера; напротив, это рассказ не объясняется ею. Однако пасхальное празднование могло быть связано только вторично с красивой сказкой, которая теперь служит доказательством; конечно, необходимо признать, что «стык» достаточно неуместен. М. Хальбвакс, не изучил ли бы он однажды ошибки коллективной памяти<sup>1</sup>?

Несомненно, его нужно было вынудить это сделать, даже силой вещей, если бы он, как я уже упоминал, не считал, что должен пренебречь предвзятым изучением юридического обычая: упущение тем более досадное ввиду того, что с этой точки зрения, в отличие от большинства других, [р. 81] полезные исторические работы ему

---

<sup>1</sup> Так как мы занимаемся религиозной историей, мне позволено сказать, что я абсолютно не поражён «буддистским» характером францисканского движения и что аскетизм святого Франциска напротив мне кажется полностью соответствующим привычным нормам христианской *аскетической жизни* (р. 285). С другой стороны, я абсолютно не верю влиянию Альбигойцев – или лучше, так как этот французский термин здесь является направляющим, Катарцев – касательно францисканизма. Действие жителей кантона Во касательно разума Франциска, очевидно – к тому же, сложное действие: уважение, открыто выраженное и заявленное, *poverello* (итал. бедненький) к священникам (*Завещание* (Testament), (р. 3) и небольшой рассказ, переданный Этиенном де Бурбон, *Анекдоты* (Anecdotes) §316 и 347) может рассматриваться как желаемая реакция на антисвященнический характер лжеучения жителей кантона Во. Я совсем у него не наблюдаю следов учения катаров. Как раз наоборот; так как в самом деле существует, например, только духовная песня Солнца; представим один из этих «прекрасных», для которого весь материал был произведением Плохого, называющего воду своей сестрой, или землю своей матерью? Но, если однажды необходимо было оказать это влияние, которое до настоящего момента казалось мне только показанным, достаточным доказательством, не было бы, по мнению М. Хальбвакса (р. 294), никакой трудности его объяснить; северная Италия, в действительности, в начале XIII века, была заселена Катарами.

пролагали путь.<sup>1</sup> Средневековые общества могут представить хорошие примеры для социологов. В западной Европе в течение многих веков правовая жизнь не имела другого основания, кроме как обычай; правило права рассматривалось как действительное, платеж – как легитимный, они были только для этой одной, также далеко, насколько простиралась память человека. Обязательства, которые историки сегодня обычно называют господскими или феодальными правами, не имели, однако, в обычном языке это имя даже обычаев, очень значительное основание, чтобы его признавали. Несколько лет тому назад английское право, верный наследник в этой области, как и в других средневекового права, определял *наследственного арендатора* помещичьей земли: «Держатель по воле господина и в соответствии с обычаем имения». Тогда как добросовестный судья, святой Луи, например, искал юридическую правду, его первым средством было повернуться к прошлому и спросить себя: что было сделано до меня? В этих условиях с первого взгляда казалось бы, что право должно было, во время долгого периода времени, остаться почти неизменным; или, конечно, напротив сильно развилось во время рассматриваемых веков, что в большинстве случаев происходит достаточно быстро. Множество новостей проникали под названием старинного обычая. Не в этом ли любопытный феномен, очень достойный, чтобы удерживать внимание психолога, занятого изучением коллективной души? Тем более, что ему находили, возможно, в эту же эпоху, другие параллели вне юридической области на религиозной земле, например: христианство, между Примирением Церкви и Реформой, более глубоко изменилось, мне кажется, что М. Хальбвак не представлял<sup>2</sup> это себе. Главным образом традиционалисты, общества средних веков сделали мечту жить с их памятью; но эта память была, при большом уважении, только неверным зеркалом.

[Р. 82] Глава, которую М. Хальбвак посвятил социальным классам, явно пострадала от чрезмерного недостатка исторической ли-

<sup>1</sup> Работы английских историков и юристов, в которых часто изучался «обычай имения», являются в этой связи крайне богатыми на интересные предположения. Могу ли я воспользоваться случаем, чтобы довести до сведения, насколько, к сожалению, произведение данного великого разума, которым являлся Ф.В.Мэйтланд (F.W.Maitland), было слишком мало прочитано во Франции? В особенности, социологи могли бы найти в нём большое количество проницательных наблюдений и глубоких взглядов.

<sup>2</sup> стр. 260: «Не в этом правда, что основные догмы и обряды были зафиксированы с первых веков христианской эры». R.S.H. – T. LX, № 118 – 120.

тературы по этой теме. Я не знаю, в достаточной ли мере он давал себе отчет об относительно современном характере – если смеют применять это слово в XII–XIII веках – появления одного истинно дворянского класса. С другой стороны, я не считаю правильным объяснять правило – также позднее – в соответствии с которым дворянин не может заниматься некоторыми профессиями, не унижая себя, принимая во внимание концепцию, что «удача, источники которой слишком видимы... теряет часть своей престижности» (р. 339).; так как для дворянских удач всегда есть источник, рассматриваемый как совершенно легитимный, даже когда он был совершенно открытым: это была война; и если М. Хальбвак сомневался, что война могла быть описана рыцарем открыто и, если можно выразиться, цинично как источник выгоды, было бы достаточно её передать, например, стихами Бертрана де Борн. Кроме того, мысль о том, что должность влечет за собой дворянство, на мой взгляд, появилась намного раньше, чем М. Хальбвак предполагает (р. 325); средневековое дворянство имеет своё происхождение, по крайней мере частично, от каролингских должностных лиц... Но все эти вопросы являются сложными, и было бы абсурдно пытаться их затронуть в данном очерке, только вскользь. У нас нет красивой истории дворянства; в день её появления М. Хальбвак будет, конечно, первым желающим изменить некоторые из её развитий. С другой стороны, историк, изучающий дворянство, если он сможет проявить себя, не преминул бы прочитать М. Хальбвакса и извлечь большую пользу от этого чтения. Благодаря интеллектуальным обменам такого рода мы можем надеяться увидеть прогресс наук. Для них нет худшей опасности, чем догматическая изолированность, которая привела бы «социологов» и «историков» к взаимному игнорированию или пренебрежению. Ввиду этого я надеюсь, что создал полезное произведение, подписываясь ниже, и обсуждая эту замечательную книгу. Независимо от собственно философского значения, которое я, безусловно, не мог оценить по достоинству (не следует забывать, что одна из метафизических доктрин того времени казалась достигнутой им в одном из его ярких произведений), независимо от всего богатства проницательных наблюдений, нам оказывается ценная услуга в том, что никто лучше историка, очень часто закрытого необходимостями даже [р. 83] профессии, в незначительных работах по эрудиции, не смог бы оценить со всей истинной ценностью: он нас заставляет размышлять о самих условиях исторического развития человечества: каковым будет это развитие без «коллективной памяти»?

## История и память

Доклад Лорана Вирта (*Laurent WIRTH, IGEN*), работающего на кафедре истории и географии в Академии Шампань-Арденн, прочитанный в ноябре 2000 г. у знаменитого окончания «исторической оси» – мемориала – куба в Париже, известного под именем Большая Арка Дефанс (*Arche de la Défense*), посвященного человечеству и идеям гуманизма.

Перевод выполнен по источнику: *Wirt Laurent Histoire et mémoire // Bulletin de Liaison des Professeurs d'Histoire-Géographie de l'Académie de Reims. N°26, 2002.*

(перевод с французского Л.В. Горпынченко, Н. Кураева)

Данные два слова часто употребляются, как если бы они являлись синонимами, но, как сказал Пьер Нора (Pierre Nora) в *Les lieux de mémoire* (1984) (“Места памяти”), значимом произведении, созданном под его редакцией:

... они являются далеко не синонимами, всё их противопоставляет...

Философ Поль Рикёр (Paul Ricœur) в своей книге *La mémoire, l'histoire, l'oubli* (“Память, история, забвение”) описал данное различие с философской точки зрения.

У меня нет такого намерения, но мне бы хотелось, основываясь на конкретных примерах, изложить краткое размышление касательно различия между историей и памятью, а также существующих между ними взаимоотношений.

Трагические события, ознаменовавшие историю нашего века, особенно самое жестокое из них – искоренение евреев и цыган, совершенное нацистами – вынуждают ссылаться на долг памяти (*devoir de mémoire*). Параллельное сопоставление истории и памяти приводит к появлению определенного количества вопросов.

- Какой смысл слов «память и история»?

- Какие взаимоотношения существуют между памятью и историей?

- В чем пример Франции является проявлением сложности данных взаимоотношений?

Два слова – история и память – часто взаимодействуют, даже смешиваются. Смешение может быть в первую очередь обусловлено тем, что история часто рассматривается как дисциплина памяти: материал, который достаточно запомнить, чтобы им управлять.

Слово «память» в настоящем очерке рассматривается в более широком и полном смысле, чем в качестве церебральной функции, используемой для приобретения, сохранения и возврата знаний к индивиду. Она является ментальным достоянием, совокупностью воспоминаний, которые «подпитывают» представления, обеспечивают сплочённость индивидов в группе или в обществе, и могут определять их настоящие действия.

В настоящее время использование слова с данным смыслом получило широкое распространение, часто связанное с идеей долга памяти. Распространение вышеуказанного применения таково, что, в соответствии с формулой Пьера Нора, в конце XX века во Франции появляется истинная *момент-память (moment-mémoire)*.

Данное возвращение памяти характеризуется его неотделимой связью с настоящим вплоть до создания заголовков прессы. Дебаты касательно режима Виши (*Vichy*), особенно в ходе процесса Рарон и касательно пыток в Алжире, являются яркими примерами истинного столкновения между памятью и реальностью, в которой средства массовой информации, политики и правосудие опережают историков, даже если последние могут быть приглашены в качестве экспертов. Вовлечение в реальность обеспечивает преимущество над взглядом историка, который отходит на второй план.

Новые методы ознаменования подтверждают, что настоящее опережает прошлое: значительным является праздничный и относящийся к средствам массовой информации аспект, который принимает ознаменование (например, по случаю празднования двухсотлетия Революции). Сегодня прошлое ознаменовывается на столько только для того, чтобы лучше отпраздновать или осудить настоящее.

Вписанная в настоящее, эта память является достоянием живущих групп. Вследствие этого, как с тридцатых годов говорил социолог Хальбвахс (умер в ссылке в Бухенвальде), существует столько же видов памяти, сколько групп. Память имеет разнообразную природу. С этой точки зрения, развитие методов ознаменования также является значительным: традиционная память предполагала порядок и иерархию, которая «спускалась» от встреч руководства государств до школьников, собравшихся вокруг памятников и в общественных

местах. В настоящее время смутное ознаменование, напротив, глубин общества, скорее исходит от групп солидарности и стремится освободить национальное, чтобы поселиться в локальном.

Наконец, память, по своей природе, является в равной степени аффективной, выборочной и способной ошибиться: она стремится удерживать только то, что её укрепляет. В ходе дебатов касательно пыток в Алжире некоторые ассоциации реагировали возмущенно, выделяя, в первую очередь, свою собственную память, основанную на злодеяниях, совершенных Фронтом национального освобождения против гражданского народа и военнослужащих вспомогательных войск. Это может привести к противостоянию противодействующих видов памяти.

Эти разобранные, избирательные, часто противоречивые виды памяти не являются, что очевидно, синонимом слова «история».

В действительности, история – это, прежде всего, процедура истины. Выбирая слово «*история*» (на греческом языке это означает *сбор информации*) как название для своего произведения, Геродот (Hérodote), *отец истории*, с пятого века до н.э. придал слову «история» этот смысл процедуры истины.

Но может ли история достичь истины?

Как верно сказал Пьер Нора, история – это *проблематичное и неполное восстановление того, чего больше нет*. Восстановление в соответствии с темой (историк) объекта (исторический факт). Однако история является *неразрывным смешением темы и объекта* (чтобы повторить выражение А.И. Марру (H.I. Marrou)). Данный факт приводит к возникновению проблемы субъективности историка.

В то же время это не препятствует истории являться дорогой к истине: не будучи уверенной достигнуть её всегда, истина всегда должна быть нормой для неё.

Безусловно, исторический факт является построением, но не означает субъективизм: существует реальность пережитого людьми в прошлом. Также существует объективность человеческого прошлого, которую невозможно извратить, не потеряв само качество.

Интенционалисты и функционалисты могут вести споры о возникновении *финального решения*, это – историки. Но нигилисты, которые отрицают материальность искоренения, не имеют права называться историками. Их утверждения являются ошибочными, так как, противоречат реальности, подтвержденной официальными документами и многочисленными доказательствами. Эти фальсификаторы должны рассматриваться как нигилисты. Не следует их квалифицировать как сторонники пересмотра: они только и ожидают

этого, чтобы быть признанными и иметь титул, на который они не имеют право.

В действительности, история может быть пересмотрена, поскольку эта работа, которая предполагает анализ и критическую речь.

Несмотря на то, что память определяет воспоминание в святом, история, процедура истины и критическая речь, вытесняет это. Несмотря на то, что память решительно выступает как абсолютное, история находится в относительном. Несмотря на то, что память разделена, «разорвана» между группами, история принадлежит всем и никому.

В этом смысле память вызывает подозрение у истории, что не означает её игнорирование.

### Сложные взаимоотношения между историей и памятью

История и память поддерживают диалектическую связь и «питают» друг друга. Между ними существуют взаимодействия в двух значениях:

Память «питает» историю с двух точек зрения:

- с одной стороны, в соответствии с красивой формулой Жака ле Гоффа (*История и память*, 1988), память свидетелей событий является самым красивым *материалом истории*. Доказательства играют важную роль для историка. Развитие *словесной истории* в течение тридцати лет демонстрирует именно интерес, который историк имеет к данному источнику. Также не следует забывать, что уже в пятом веке до н.э. Геродот и Тусидид (Thucydide) собирали такие доказательства, и что доказательство может также быть письменным. Как понимать *брутализацию*, которая представляла Первую мировую войну без доказательств солдат-фронтовиков? Как понять всю жестокость концентрационных лагерей без доказательств уцелевших? Историк работает над этими доказательствами, независимо от того, являются ли они устными (при рассмотрении истории настоящего времени или недавней истории) или письменными (при рассмотрении более давней истории). Он их сравнивает, сопоставляет, помещает во внешние обстоятельства, также сопоставляет их с материальными следами этого прошлого, которое он пытается восстановить.

- с другой стороны, в течение нескольких лет память стала таковым объектом изучения для историков, который показан в работе *les lieux de mémoire* и многочисленных работах касательно видов памяти различных групп (социoproфессиональные, этнические, ре-

гиональные, религиозные и т.д.) которые преумножались, в особенности в восьмидесятые годы.

В противоположном направлении история может питать память: историки и профессора истории не довольствовались применением памяти как источника, они содействовали созданию этой памяти.

С этой точки зрения, пример Франции интересен, но он также показывает, как и множество других, риск: история может быть иногда превращена в инструмент, более или менее осознанно, при тревоге, относящейся к памяти; то, что должно побуждать к бдительности, если оберегать тревогу истории, для которой истина является нормой.

### Пример Франции, проявление сложности данных взаимоотношений

Во Франции история была *ректором национальной памяти* (Пьер Нора).

Безусловно, это не соответствует нашей стране: в XIX-м и в начале 20 века история была средством представления европейским нациям засвидетельствованной памяти, содействия построению и приданию законной силы национальной памяти.

Во Франции Эрнест Лависс (Ernest Lavis) являлся с этой точки зрения истинным *национальным учителем* (это также слова Пьера Нора) во времена Третьей Республики. *Le petit Lavis* – справочник, предназначенный для учеников начальной школы, первое издание которого вышло в 1884г., и который, благодаря успешным изданиям, будет использоваться до начала 1950-х годов, является, прежде всего, рассказом о строении французской нации. Автор, прежде всего, выделяет то, что способствует построению единства Французов, с их знаковыми личностями. Это некоторого рода республиканский и патристический катехизис. *Искренняя история французской нации* (1933) историка Шарля Сейнобос (Charles Seignobos) берёт своё начало от аналогичного источника.

Данное гармоничное сотрудничество между историей и памятью в начале века затем пошатнется по нескольким причинам:

- одна является университетской: история, которая восхваляет *школу Анналов* (*l'école des Annales*), которая снова объединилась вокруг Журнала Анналов, основанной М. Блок и Л. Февр (L. Febvre) в 1929г., является структурной, глобальной историей, написанной в длительный период, не подходящая для интеграции в национальную память;

- ужасы Великой Отечественной войны спровоцировали учёт расстояния по отношению к национализму, который распространяли

исторические книги. Следует заметить, что *история может служить для ведения войны* – после Второй мировой войны движение деколонизации вызвало появление шокирующего усиления колонизации посредством исторических книг. Выявляется, что история также служила для оправдания завоеваний и господства;

- роль, отведенная истории в тоталитарных государствах, когда речь идёт о систематическом манипулировании коллективной памятью и подчинении историков с целью служения идеологии, убивая, кстати говоря, память и историю, исключает любую форму применения истории для выполнения цели, относящейся к памяти.

Однако конец прошлого века был ознаменован истинным возвращением памяти. Это возвращение уже было спровоцировано и особенно проявилось в 80-е годы (см. выше *момент-память* (*moment-mémoire*), Пьером Нора) в виде многочисленных форм: новый интерес историков к памяти, известность наименований, многочисленные возникающие виды памяти (социопрофессиональные, этнолингвистические, региональные, религиозные), упоминание проблем памяти в политических дебатах и дебатах в средствах массовой информации, призыв к справедливости при решении этих проблем... Можно говорить об истинном феномене общества. Для чего такое возвращение памяти? Смятение перед прогрессивностью и потеря традиционных ориентиров? Проблема идентичности (см. посмертную книгу историка Ф. Бродель (F. Braudel), *«Идентичность Франции»* (*l'identité de la France*))? Беспокойство, несмотря на то, что государственная нация больше не является тем, чем была, и вероятно угроза от верхов (Европа, которая строится) и низов (регионы, которые проявляют себя)?

Проблема состоит в том, что память может приостановить историков или являться фактором затруднения. С этой точки зрения пример с историей Виши является достаточно интересным:

А. Руссо (H. Russo) в своей книге под названием *синдром Виши* (*syndrome de Vichy*) удачно продемонстрировал, как память сторонников Сопротивления (*résistancialiste*), культивируемая после войны от коммунистов до сторонников де Голля, привела к мифу, мифу сторонников Сопротивления и к стремлению потерять память касательно Виши: большая часть французов сопротивлялась бы, сотрудничество было делом некоторых погибших людей. Результатом стало то, что Анри Руссо называет *некоторого рода консенсусом отталкивания*.

Следует ожидать начала 70-х годов, когда появляется книга американского историка Пакстона (Paxton) о Франции Виши (*La France*

de Vichy) и выходит фильм *Печаль и жалость (Le chagrin et la pitié)*, долгое время запрещенный к показу на телевидении, чтобы быть свидетелем того, что А. Руссо называет *возвращением оттолкнутого*. Память сторонников Сопротивления, которая была во многом разделена обществом до 60-х годов, и которая была восстановлена генералом де Голлем, действовала как затвор и парализовала историков.

Снятие блокады окажется очень успешным: в 70-80-х годах историки с рвением принялись за работу по этому вопросу и восполнили потерянное время. В то время Виши стал основным предметом исследования. Общественное мнение той эпохи, антисемитизм режима Виши и его сложность в *финальном решении* во многом достигнуты. Это *возвращение оттолкнутого* переводится в школьных программах и справочниках по истории: период войны включен в программу с начала 60-х годов и в справочники, Виши, однако, вскоре был отправлен и без сложностей обвинён, не оказывая сопротивления немцам. С другой стороны, с начала 80-х годов, программы и справочники четко определяют ответственности и активную сложность Виши.

Но, что парадоксально, несмотря на то, что проходит историческое исследование и история Виши широко отражена в школьных программах, развивается идея, что *от нас все скрывают* и что историки не выполняют свою работу или не могут её выполнять ввиду закрытости архивов, что ответственности Виши не изучаются в классе. Пресса создает для себя отголоски этой идеи в коммерческом контексте (Тувье, Буске, Папон) и политической актуальности. Право (см. процессы), политика (пример: предъявление обвинения Ф. Миттерану за его дружбу с Буске и его переход к Виши) намереваются опередить работу историков. Целью памяти становится опережение истории. А. Руссо и журналист Е. Конан в своей книге *Виши, прошлое, которое не проходит (Vichy, le passé qui ne passe pas)*, отчетливо показали этот феномен.

Дебаты касательно пыток, применимых полицией и французской армией в Алжире, повторяют аналогичный процесс. Если бы мне некоторые поверили, война в Алжире также была бы запрещенной темой нашей истории, и её бы не изучали в классе. Что в этом?

Французские историки затрагивали эту тему, и понадобилось бы много времени цитировать всех тех, которые её касались. Просто вспомним, что в 2000 в Сорбонне проходил семинар в честь великого специалиста Ш.Р. Ажерона (Ch.R. Ageron), который собрал очень большое количество историков, работавших над этим вопросом в течение нескольких лет. Вспомним также, что 5 декабря 2000, молодая студентка Рафаэль Бранш (Raphaëlle Branche) в Институте политических исследований в Париже защищала диссертацию на тему *Армия*

*и пытки во время войны в Алжире (L'armée et la torture dans la guerre d'Algérie)*. Для сбора материала она обращалась к архивам. Теперь правила получения консультации смягчены: обычно, срок составляет 30 лет, если он продлен (например, до 60 лет в целях защиты частной жизни, или безопасности Государства и обороны) – разрешения на доступ к архивным документам в порядке исключения подлежат согласованию.

Что касается места, которое война в Алжире занимает в школе, вспомним, что с начала 80-х годов она изучается в третьем или в последнем классе. При чтении справочников можно констатировать, что пытки или избиение 17 октября 1961г. рассматриваются в рамках данного изучения.

В 2001 г. группа «История и география» Генеральной инспекции организовали для преподавателей летний Университет на тему *Узнавать и изучать войну в Алжире и современный Магриб (Apprendre et enseigner la guerre d'Algérie et le Maghreb contemporain)*.

В случае с войной в Алжире, как ранее и в случае с Виши, видим, относящееся к средствам массовой информации, политику и право, занимающих видное положение. Некоторые журналисты необдуманно клеймят историков и национальное образование, которые не выполняли бы их работу.

За этим беспокойством, относящимся к средствам массовой информации, основное – это позволить работать историкам и облегчить их задачу поиска правдивости.

В самом деле, они должны проводить эту процедуру правдивости, которая является историческим исследованием, им писать историю.

Мы много говорим о долге памяти. Не хотели ли вы лучше поговорить о долге истории и праве на память? Не лучший ли это способ пропагандировать процедуру правды, чем история?

Не является ли это также средством создания *политики справедливой памяти*, из которой Поль Рикер сделал *одну из своих гражданских признанных тем*.

Лоран Вирт работает в Академии Шампань-Арденн, кафедра Истории и Географии. Он нам любезно сообщил текст доклада, который произнес в ноябре 2000 г. у знаменитого куба в Париже Arche de la Défense. Мы благодарны ему за это.

© Бюллетень, выпускаемый профессорами группы «История-География» Академии в Реймсе, № 26, 2002. (Bulletin de Liaison des Professeurs d'Histoire-Géographie de l'Académie de Reims. N°26, 2002).

Деннис КОЛЛИНЗ

## История или память?

*Текст выступления, произнесённого во время симпозиума «Какая история для какой памяти?», проходившего 31 марта 2001г. в Шатору<sup>1</sup>.*

*Перевод выполнен по источнику: Denis Collins History or memory, 2001.*

*(перевод с французского Л.В. Горпынченко, Н. Кураева)*

Поскольку на меня возложена обязанность открывать этот день, посвящённый отношениям между историей и памятью, в первую очередь мне бы хотелось пояснить заголовок моего выступления. Общепринятое мнение обязывает нас, профессоров, «создавать гражданство». Вероятно потому, что сейчас гражданин стал загадочным существом более чем когда-либо. «Долг памяти», ставший истинным категорическим императивом, безусловно, является одним из основных элементов нового гражданства. Основываясь на упомянутом долге памяти, ожидается появление или возрождение «общей культуры», общих ценностей, которые могли бы способствовать формированию у наших учеников, граждан завтрашнего дня, сознания о принадлежности к одному политическому обществу с правами и обязанностями. Долг памяти, который в первую очередь касается преступления против человечества и искоренения евреев Европы, охватывает все трагические события нашей истории и действует по принципу «никогда больше», применяя все формы нравственности и битвы добра против зла. История, являясь социальной наукой и школьной дисциплиной одновременно, перемещается на первое место ввиду того, что становится очевидной задачей истории – сохранить память живой.

Определение коллективной памяти и истории является источником главных философских и эпистемологических вопросов. В июне 2000 г. при сдаче экзамена на получение степени бакалавра кандидатам была предложена следующая тема: «Память, достаточно ли её для историка?». Вышеуказанная тема являлась актуальной, однако большинство кандидатов не смогли понять ни её смысл, ни значение. Сегодня я бы хотел обсудить с вами вопрос о профессиональной

<sup>1</sup> Прим.пер. – Шатору (Châteauroux) – административный центр департамента Эндр в центральной Франции.

деформации. На мой взгляд, отношения между коллективной памятью и историей должны быть гармоничными и история может только вступать в конфликт с «долгом памяти», часто используемый для достижения политических или нравственных целей.

Казалось бы, именно здравый смысл руководит нами, когда мы тесно связываем историю и память. Не является ли история той дисциплиной, которая заставляет повторно прожить то, что спрятала коллективная память? Могла ли история обойтись без коллективной памяти, записанной в наших памятниках, в наших законах, в наших обычаях и в нашем языке? Словом, существовала ли коллективная память вне обучения истории, отдельно для нас, вне обучения в школе? Те, кто практически научились читать по книгам Мале и Исаака (Malet and Isaac) знают, что именно национальное единство, сильное чувство, пронизывает весь текст, кто высоко оценивает наши современные справочники с красочными иллюстрациями, но с таким скудным содержанием, хотя политически корректным, безусловно корректно!

Однако эти сопоставления и определение в то же время не противопоставляются анализу. Можно было бы по пунктам сравнить память и историю (I). Я бы хотел остановиться на вопросах Пьера Нора (II). Однако противопоставление истории и памяти не исключает политическую роль памяти, но требует чёткого разделения порядков (III). Откуда мы могли извлечь некоторые уроки касательно того, чем история обязана школе (IV).

## История против памяти

В действительности кажется, что сначала история основывалась на систематизированной, упорядоченной памяти. Но только памяти. Наше собственное прошлое, мы его знаем благодаря памяти. Не становится ли очевидным, что история выполняет эту самую миссию. Вот почему история очевидна. Разъяснить, что история является наукой, и что она, как и все науки, сталкивается с эпистемологическими трудноразрешимыми проблемами – это всегда нелегко! Если бы история не являлась наукой, аналогичной естественным наукам, но это уже другой вопрос, который необходимо рассмотреть в другой раз. Не ограничивается ли история пересказом истории в виде рассказа? Аналогично, как я рассказываю об определённом моменте своей жизни? Прочитаем вступление в «Истории» (Histoires) Геродота. Какова цель этой работы: «чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и достойные деяния как эллинов,

так и варваров не остались в безвестности». История, по мнению её основоположника, была бы «работой памяти», борьбой против забвения. Однако Геродот определяет историю только как возврат к общественному мнению: город для Греков является именно тем местом, которое позволяет смертным разделить бессмертие, используя воспоминание, оставленное знаменитыми смертными в памяти живущих. После процитированного отрывка Геродот утверждает, что его цель – «выяснение причин войны, в которую они вступили». История больше не является рассказом, а наукой, ввиду того, что она устанавливает причины. Вопрос о причинах, очевидно, является основным для эпистемологии истории: история является наукой, только если она может устанавливать причины, но что такое причина в истории? Выяснение причины является предметом самых продолжительных учёных споров. Мы пока не будем затрагивать данную тему. Если бы мы хотели продолжить аналогию между судьбой индивидуума и судьбой человеческого общества, историю нужно было бы сравнивать не с памятью, а с психологией!

Можно сказать, что историческая наука строится в первую очередь при помощи терпеливого разделения памяти. Приведу четыре основных момента:

1. Память – субъективна. Она всегда является составной частью пережитого сознательного. Память – это моя память. Целью истории является объективность. История – это не моя история, она позиционируется как внешнее существование по отношению к сознанию. Историческая память – это всегда наша память. Наша память об истории Франции – это не память об истории Франции наших соседей и наоборот! Напротив, история предполагает смещение взгляда. То, что называем объективностью, которая представляет собой возможность изменить свою точку зрения, не подчиняться определенной точке зрения.

2. Память предполагает забвение как обязательное дополнение. Я не могу вспомнить, чтобы я выбирал то, что должно быть забыто. Коллективная память также действует до забвения. Обычно мы воспринимаем забвение как полное отрицание, отсутствие памяти. Но забвение является необходимой основой для появления памяти. Иногда даже забвение может регулироваться, например, для выполнения политических, религиозных целей и т.д. Цель истории (как психоанализа!) – вернуть забвение.

3. Память записана в рассказе. Индивидуальная память – это то, посредством чего индивидуум определяет свою личность. Считается, что она полностью основана на настоящем – память, это всегда про-

шлое до настоящего. Аналогично и с коллективной памятью. Исторические общества сохраняют следы, то, что ещё представляет собой настоящее. Из коллективной памяти исчезло то, что больше не используется. В обоих случаях память выражена в рассказе, финал которого известен. Память является обязательно телеологической: правдивость прошедших событий находится в настоящем. Историческая наука, с того момента, когда она претендует быть действительно научной, должна происходить от рассказа, потому что она должна происходить от телеологии, истории, ориентированной на идеальный финал, что в действительности означает – от интерпретации прошлого в соответствии с настоящим.

4. Память интересуется только временным соединением картинок – она отождествляется с нашим личным сознанием времени. Коллективная память также действует с помощью картинок («эпинальские картинки»). История, напротив, интересуется причинной связью. Факты и события должны обеспечить внятность исторического процесса.

Я понимаю, что составляю идеальный портрет исторической науки. Поль Рикёр в течение длительного времени рассуждал о границах научности истории. Он придерживается мнения, что история не может освободиться от рассказа, несмотря на усилия современной историографии. Вопрос причинности в истории остаётся нерешённым. Нам хорошо известно, что история не относит себя к естественным наукам. Нам также известно, что «законы» истории не имеют ничего общего с законами физики. Я даже готов понять различие, определённое Дильтеем<sup>1</sup> между номологическими и герменевтическими науками, и поместить историю на один уровень с указанными науками. Но данное разделение, если основано на неоспоримых аргументах, тем не менее, не отменяет требований к истории, также предъявляемых к естественным наукам, даже если «обязательство достичь результата» никогда не может относиться к одинаковому порядку.

Следовательно, историческая наука может позиционировать себя только с точки зрения рационального понимания и объективности, точки зрения, которая радикально отличает книгу историка от исторического романа – несмотря на моё желание обесценить исторический роман как литературный жанр. Однако история не может избежать конфликта интерпретаций, научная истина сохраняет свой регулирующий идеал.

<sup>1</sup> Прим.пер Дильтей – нем. философ.

## Память и история в работах Пьера Нора

В качестве темы своей работы «Места памяти» Пьер Нора определил противопоставление истории и памяти, но с определённой коннотацией. Я бы хотел прокомментировать несколько отрывков.

*«Память, история. Мы отдаем себе отчет в том, что всё противопоставляет друг другу эти понятия, далекие от того, чтобы быть синонимами. Память – это жизнь, носителями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. История – это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память – это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. История же – это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается туманными, многоплановыми, глобальными и текучими, частичными или символическими воспоминаниями, она чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или проекциям. История как интеллектуальная и светская операция вызывает к анализу и критическому дискурсу. Память помещает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим. Память порождается той социальной группой, которую она сплачивает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принадлежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием. Память укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, кроме временных протяженностей, эволюции и отношений вещей. Память – это абсолют, а история знает только относительное».*

На мой взгляд, до данного момента противопоставление между историей и памятью воспринимается верно. Однако далее возникают противоречия.

*«История есть делигитимизация пережитого прошлого».*

История делигитимирует прошлое как исторический достоверный рассказ. Пережитое прошлое является предметом истории – Нора говорит об этом далее. Если существует делигитимизация, то

только с точки зрения того, кто является историком. Но в своей области пережитое прошлое остаётся полностью легитимным. Ложная идея действительно остаётся идеей, поскольку не является полным уничтожением.

Продолжаем: *«На горизонте историзированных обществ и в мире, достигшем предела историзации, произошла бы полная и окончательная десаκραлизация. Движение истории, амбиции историков не являются воскрешением того, что действительно произошло, но полным его уничтожением».*

Кое-что мне непонятно. Термин «уничтожение» в философии Сартра имеет определённый смысл. Исходя из этой проблематики, термин приобретает другое дополнительное значение. Уничтожить – это свести на нет. Но все знание есть «уничтожение» ввиду того, что ограничивая свой предмет, знание начинается с «не...». Всякое определение является отрицанием – говорит Спиноза. Уничтожение памяти историей является только другим способом сказать, что история желала бы быть рациональным знанием, а не просто рассказанным пережитым.

Нора продолжает:

*«Пожалуй, одним из наиболее осязаемых знаков этого отрыва истории от памяти является начало истории истории, совсем недавнее пробуждение во Франции историографического сознания».*

В действительности, не существует памяти памяти. Вспоминать свою память – это выражение, которое не имеет точного смысла. С другой стороны, история истории без труда входит в состав образованной дисциплины как история наук.

Нора пишет:

*«Вся история целиком вступает в свой историографический возраст, достигнув своей деидентификации с памятью. Память сама превратилась в предмет возможной истории».*

Данное утверждение является ничем иным как вступлением истории в возраст зрелости. Это значит в возраст, когда она может составить свою собственную критику, определить условия действительности своих собственных рассуждений. Нора отметил точную проблему, которая касается метода использования истории при определении французской национальной идентичности.

*«История, а точнее история национального развития, составила одну из самых сильных наших коллективных традиций, нашу среду памяти», –* говорит Нора. Речь идёт о знании, является ли история или нет, выступая как дисциплина, элементом политической национальной идентичности. Он пишет с ностальгией:

*«Прошлое можно лишь знать и почитать, нации можно служить, будущее нужно готовить. Три термина обрели свою самостоятельность. Нация – это больше не борьба, а данность, история превратилась в одну из социальных наук, а память – это феномен исключительно индивидуальный. Нация-память оказалась последним воплощением истории-памяти».*

На мой взгляд, часть ответов на вопросы Нора можно найти у Маркса, в концепции о задаче историка, с идеологией и телеологическими концепциями, что значит теологическими. Данное утверждение могло бы показаться парадоксальным, принимая во внимание то, что говорилось вчера о Марксе и о том, что об этом говорят сегодня. Но возвращение к текстам – а не к стандарту марксизма – позволяет убедиться, что мы находимся на серьезном пути.

Для Маркса данное проникновение истории посредством философии, свойственное XIX веку, является одновременно точкой возврата в философскую традицию. В текстах 1844–1845 гг. речь идет о том, чтобы проститься с философией истории, в особенности в её гегельянском виде. Если философия не имеет другого будущего, кроме как в наблюдении исторической науки, необходимо отказаться от данной концепции истории, которая видит в будущей истории цель прошедшей истории, как об этом говорит Маркс. Основываясь на этом, в работе Маркса *«Немецкая идеология» (L'Idéologie Allemande)* приведено несколько заключений, кратко изложенных ниже:

1. Действуя в качестве историка необходимо остановиться на понимании внутренней логики исторических фактов и, следовательно, отказаться писать историю, основываясь на внешней норме, если говорится о теологической норме или её версии, логически обоснованной Люмьерами в образе марша Разума.

2. Историческое знание должно стать «всей историей» фактически в смысле, в котором Бродель употребляет данный термин. Ввиду того, что история является не только политической историей или историей идей, в первую очередь это – история отношений между человеком и природой, создание «материальной цивилизации», основная ступень исторического понятия. Более того, естественные науки сами становятся частью истории ввиду того, что природа известна только в практическом отношении, посредством которого индивидуумы стремятся ею управлять.

3. Историческая реальность должна быть проанализирована. Необходимо покончить с такими выражениями, как «смысл истории», «цель истории», «хитрость истории», и может быть даже «уроки истории». Вышеуказанные выражения, которые, в крайнем случае,

могут употребляться метафорически, но используемые в буквальном смысле, являются самыми понятными выражениями идеалистической философии или того, что Маркс называет идеологией.

Маркс предлагает строго номиналистическую концепцию. История представляет собой только смену поколений: «История не делает ничего, она не обладает «никаким необъятным богатством», она не «сражается ни в каких битвах» – говорит Маркс в своём произведении «Святое семейство» (*La Saint Famille*), и продолжает: «Не история, а именно человек, действительный и живой человек – вот кто делает это всё, всем этим обладает и за всё борется[ ]. История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека». Предлагается ликвидация философии истории согласно требованиям, или если быть более точным – сокращение философии истории среди идеологии. Следовательно, «исторический материализм» не является философией истории, а критикой основ всех философий истории.

Данные утверждения могут показаться парадоксальными, в то время как имя Маркса чаще всего известно в слове «марксизм», одной из великих идеологий XX века. Действительно, Маркс-воин, Маркс, восставший против капиталистического общества, Маркс, который возрождает христианское учение о загробной жизни в образе судьбы пролетариата, кажется, предал забвению решительного полемиста о разрыве с гегельянством. Ввиду того, что марксизм – помимо важных работ многочисленных марксистских историков – снова перешёл в худшую из философий истории, в философию, где прошлое существует только как момент будущего, которое должно совершиться с «необходимостью, которая направляет к законам природы». Вероятно, наступил момент поступить с Марксом как он предлагал поступить с Гегелем: выделить рациональное ядро мистической оболочки и вновь открыть великого мыслителя общественных наук и предшественника историков прошлого века.

Какова бы ни была судьба марксизма и Маркса, я считаю, что в этой работе, которой более 150 лет, необходимо прочитать защитную речь в пользу освобождения истории как научной дисциплины, против её подчинения условиям социального и политического пережитого. Для разрыва с романтической историей, с историей, направленной для выражения «*Volksgeist*» (нем. национальный дух), национального сознания.

## Память, политика, сообщество

Размышлять о возможности научной истории, объективности исторического сознания – это не решит вопрос о памяти.

При возникновении интереса к отношениям между историей и памятью, необходимо предположить, что я и сделал в данной работе, что существует что-то, что можно назвать «коллективной памятью». Я не буду подробно описывать анализ коллективной памяти, как это сделал Хальбвакс, продолженный Рикёром. Словом, для Хальбакса память всегда является коллективной ввиду того, что индивидуальная память всегда представлена в определённых социальных рамках. Мы не вспоминаем сами, утверждает Хальбвакс.

Для того, чтобы описать коллективную память, можно было бы обратиться к различию между памятью-воспроизведением и памятью-изображением, определенном Бергсоном. Коллективная память в действительности вписывается в общество, в его обычаи, которые оно воспроизводит практически механически. Но она также существует посредством изображений и мифов, которые нас преследуют, даже в структуре языка – латинский язык, например, является живым языком!

Память, в первую очередь, представляется как передача характерного поведения социальной группы, как говорят социологи. В конечном счете, мы рождаемся уже в старом мире!

Но коллективная память не является только спонтанным феноменом. Она существует только при помощи желаний и человеческих действий. Память организована и тесно связана с политикой. Когда освящается могила неизвестного солдата, когда во всех наших городах и деревнях появляются памятники погибшим во время Первой мировой войны, мы следуем за памятью, но в особенности за политикой. Как следуют за политикой те, кто возводят памятники погибшим пацифистам, в настоящее время защищаемым ассоциацией.

Сама историческая дисциплина включена в создание коллективной памяти. Известно, как история «наших предков Галлов» была историей, придуманной Третьей Республикой в поисках гражданского соединения, закрепленного наилучшим образом в бессознательном, чем отвлечённые понятия в *Общественном договоре (Contrat Social)*. Вспомним споры во время ознаменования освещения Хлодвига<sup>1</sup>. Речь не шла об истории ввиду того, что вопрос о том, является

ли это событие актом рождения Франции, лишен смысла с точки зрения научной объективности, как и все вопросы, которые ссылаются на мифы об истоках – истоки всегда мифически. Франция начинается с римского завоевания (мы унаследовали язык), с франкского завоевания (мы носим имя), с раздела империи Карла Великого согласно Верденскому договору (843), который определяет то, что будет являться основой его территории, Франция начинается с Капетингов, которые её объединили и определили административную структуру, а также место в Европе, она также начинается с залы для игры в мяч с ракеткой и Валми, когда она действительно стала политической нацией, основанной на договоре и присоединении гражданина к нации, но если быть кратким – она не прекращает начинаться! Как бы ни была память Валми дороже для сердца Республиканцев, чем освящение Хлодвига. Но это нас перемещает вне истории, именно в эту память, которая образует структуру жизни нации и определяет её политические очертания.

Данные изображения нашей коллективной и индивидуальной памяти позволяют обеспечить политическую и социальную жизнь и, как следствие, совсем короткую жизнь! Они также необходимы, как и память-воспроизведение, о которой я упоминал ранее. Только те, кто рассматривают человека как *homo oeconomicus* (человек экономический), что значит как автоматический калькулятор, увеличивающий свои преимущества, только они смогли бы пояснить, что мы избавлялись от этого исторического воображаемого, забывая к тому же, что этот *homo oeconomicus* сам является мифом. Робинзон Крузо – вот человек, сделавший себя сам!

## Задача обучения истории

Изучая историю, мы размышляем об отношениях между историей и памятью, и перед нами возникает серьёзная проблема.

Данные два порядка, порядок памяти и порядок истории, имеют своё достоинство. Если рассматривать народ не как действие природы – вопреки тому, что можно было бы предположить, основываясь на этимологии – не только как акт Права в соответствии с Ж.Ж. Руссо (*Contrat Social*), становится понятным, какую важную политическую роль в этом играет коллективная память. Вот почему от обучения истории мы ожидаем, что оно служит тому, что теперь называют «долгом памяти». Другими словами, обучение включено в структуру коллективной памяти в качестве основного элемента. Справедливо

<sup>1</sup>Прим. пер. Хлодвиг – король Мервингов в 481–511 гг.

или нет, но часть политиков считает, что память является средством против разрушения социальной связи, с которым мы сталкиваемся.

Нам поставлен конкретный вопрос – вопрос касательно функции школы как учреждения. Наделена ли школа обязанностью формировать то, что сейчас называют «общей культурой», выражение достаточно опасное, которое не сильно отличается от «создания идеологического формата»? Или напротив, должна ли она обучать и в ходе обучения развивать критическую рациональность? Чтобы объяснить, я бы хотел привести два примера, свидетельствующие, на мой взгляд, о проблемах, с которыми мы сталкиваемся.

Первый пример: Вопрос античного гражданства. Относится к программе истории пятого класса средней школы, рассматривается в программе по гражданскому, правовому и социальному воспитанию (ECJS), обсуждается в выпускных классах, при заинтересованности работой Аристотеля *Politiques (Политики)*. Можно рассматривать этот вопрос аналогично тому, как он рассматривается в многочисленных справочниках по истории, и как Национальный центр педагогической документации (CNDP) предлагает его рассмотреть в программе по гражданскому, правовому и социальному воспитанию, принимая во внимание ограничения афинской демократии: исключение женщин и чужаков, рабства и т.д. Основываясь на этом, без труда можно доказать, что наша современная демократия намного превосходит упомянутую античную демократию, которая допускала самые худшие проявления неравенства и дискриминации. Представим схематически. Данная линия является общей линией данной работы и опубликованных ранее материалов. Аналогично тому, как формируется память, память, которая прославляет настоящее как прогресс на фоне смутного прошлого. Я сожалею, но история не создаётся таким образом. «Не включены в контекст» политические институты, сравнимые с идеальной нормой, – политическое и гражданское равенство мужчин и женщин в возрасте как минимум 30 лет в нашей стране. Следовательно, мы «потеряны» в идеологии, идеологии, наполненной добрыми чувствами, идеологии, цели которой я бы мог разделить, но всё-таки идеологии. Или, с исторической точки зрения, труднее объяснить то, что действительно представляет собой проблему, – это греческое исключение, это требовательная концепция Республики как правление равных, гражданства как государства тех, кто поочередно являются управляющими или управляемыми. Это то, что Гегель называет «ложным цветом» афинской демократии. Для «гражданского» формирования ученика, не является ли намного важнее научиться «смещать центр» за горизонт, рас-

положенный близко к «общественному мнению», чтобы наконец научиться размышлять?

Второй пример: Нацизм и искоренение масс. То, что называют «долгом памяти» – это, главным образом, память концентрационного лагеря (истребления евреев и цыган) и категорический императив, который из этого вытекает: «никогда больше». Намерения пока ещё добрые. Но создаётся неожиданный результат, неожиданный как минимум для того, кто надеется найти в истории дополнение к рациональности. Нацизм стал для наших учеников старшей школы воплощением абсолютного непостижимого зла. Вся история XX века поглощена в этой черной дыре и стала театром теней, который исключает, вопреки тому, что можно было бы подумать, всякое политическое или гражданское размышление. Эти два термина являются эквивалентами. Как был возможен нацизм? Неразрешимая загадка. Что нужно думать о немецкой революции 1918–1919 гг.? Что нужно думать о версальском договоре? Там, где размышление о прошлом считается просвещением умов и которое их разоружает. Однако нетрудно заметить, что XX век был «веком лагерей». Не составит труда показать, каким образом великое побоище Первой мировой войны стало решающим моментом привыкания людей к жестокости. Но красивое сооружение абсолютного зла рушится, поскольку Первая мировая война была делом цивилизованных государств, правовых государств, а не варваров и монстров...

Не будем больше на этом останавливаться. На мой взгляд, совершенно очевидно, каким образом такое заблуждение памяти, как «долг памяти», основанный на категорическом императиве нашей политической системы, а также школьной системы, приводит к ужасным результатам. Мы хотим воспитать граждан. Но мы только приучаем школьников к добрым чувствам, неглубоким, в то время как в силу привычки к объективности формируется свободная мысль, а значит – критическая мысль.

## Заключение

Если обучение истории имеет смысл и является в высшей степени создающим, то только при условии радикального избавления от социальных требований коллективной памяти и «современных» опасений. Что означает – отказ от желания придумывать коллективную память. Лучший способ стать гражданином – изучать правление Луи XIV или мидийские войны, чем снова рассматривать ужасы века.

Я бы хотел закончить вопросом, который станет темой для дискуссии. Сегодня повсюду спрашивают об изучении истории религий (хотя религии обычно включены в программу истории) – не находимся ли мы на пути восстановления памяти, используемой от имени «общей культуры», не находимся ли мы на пути подготовки настоящей бомбы против исторической науки?

**Робин ВАГНЕР-ПАЦИФИЦИ**  
(Суортмор Колледж),  
**Барри ШВАРЦ**  
(университет Джорджии)

### **Мемориал ветеранам Вьетнама: памяти трудного прошлого<sup>1</sup>**

Проблема почтения памяти (commemoration) относится к тому, каким образом общество воспринимает свое прошлое, и поэтому является важным аспектом социологии культуры. В нынешних подходах к данной проблеме, восходящих к работам Эмиля Дюркгейма, делается акцент на способах, при помощи которых мемориальные объекты (commemorative objects) символизируют прошлые славные события в истории общества. В настоящей статье о мемориале ветеранам Вьетнама, напротив, рассматривается то, как общество усваивает уроки былых событий, которые вовсе не назовешь славными, а память о них противоречива, а не демонстрирует общее согласие.

---

Оригинальный текст: American Journal of Sociology, Vol. 97, Number 2, September 1991, pp. 376-420.

<sup>1</sup> Авторы выражают благодарность Венди Грисволд, Харольду Бершади, Гидеону Арану, Джою Чарльтону, Т. Каори Китао и Гэри Марксу за полезные комментарии к предыдущей версии этой статьи. Ряд анонимных замечаний также значительно повлиял на понимание логики изложения материала. Авторы также признательны Дэвиду Гайнесу, чья кураторская помощь позволила использовать фонды Музея Соединенных Штатов и Регионального археологического хранилища, и Дональду А. Леону, автору проекта мемориала ветеранам Корейской войны, чьи глубокие замечания об этом памятнике оказались для нас наиболее полезны. Предыдущие версии настоящей статьи были представлены в 1987 году на ежегодной встрече Американской социологической ассоциации и в 1989 году на коллоквиуме по современным военным монументам, который проводил берлинский Институт современных исследований. Оба автора благодарны за финансовую поддержку исследования фонду Эндрю У. Меллона. Корреспонденция принимается на имя Robin Wagner-Pacifici, Department of Sociology and Anthropology, Swarthmore College, Swarthmore, Pennsylvania 19081.

От прочих войн Вьетнамская война отличалась тем, что она была политически неоднозначным и морально сомнительным делом, которое закончилось поражением Соединенных Штатов. Однако, как и другие войны, ее участники проявляли и храбрость, и самопожертвование, и честь. Воплощение этих противоречивых аспектов Вьетнамской войны в одном монументе сопровождалось конфликтами между разными жанрами мемориального искусства. Основным предметом исследования в этой статье станет дискурсивное поле, из которого возник мемориал ветеранам Вьетнама. Тем самым будет показано, каким образом противоположные группы заинтересованных лиц выразили ту двойственность, которая характерна для памяти о Вьетнамской войне. Эта двойственность отразилась не только в проекте монумента, рассматриваемого в статье, но и в других монументах памяти Вьетнамской войны, которые позже были воздвигнуты в разных местах страны. Эти попытки почтить память разъединившей общество войны, равно как и стремление других наций примириться с трудными страницами собственного прошлого, ставят под вопрос убежденность Дюркгейма в том, что моральное единство является абсолютным объектом поминовения (commemoration). Мемориал ветеранам Вьетнама и подобные ему монументы выступают не символами солидарности, но тем, что более явно и более осознанно выводит на поверхность конфликтные представления нации о себе и своем прошлом.

В этой статье будут рассмотрены две проблемы – общая и частная; при этом мы утверждаем, что наиболее оптимально рассматривать данные проблемы в их взаимосвязи. Общая проблема – это обнаружение процессов, с помощью которых производятся культурные смыслы и сама культура. В этих процессах преломляются коллективная память, этические и политические начинания, господствующие идеологии и различные дискурсивные жанры – всему этому социологическая наука должна дать должные масштаб и место. Частная проблема – это собственно мемориал ветеранам Вьетнама. Этот необычный монумент стал результатом запоздалого понимания необходимости в некоем всеобщем символическом почтении памяти людей (the men and women), погибших во время Вьетнамской войны. Однако перед создателями этого памятника стояла задача, прежде неизвестная американской истории, – задача увековечить разъединившее людей поражение.

Конкретный случай проблемы памяти ветеранов Вьетнама позволяет сделать некоторые общие выводы в области социологии культуры. Столь пристальное внимание к отдельному эпизоду можно объяснить словами Клиффорда Гиртца: «важнейшей задачей построения



Наследник славы, для грядущих дней  
Не просишь ты свидетельства камней.

*Джон Мильтон, «О Шекспире» (1630)\**

теории... является не кодификация абстрактных закономерностей, но создание возможности для широкого описания; не обобщение поверх примеров, а обобщение не выходя за их рамки» (Geertz, 1973, р. 26). Однако нам также важно выявить определенные формулы почтения памяти, поскольку они повторяются от одной ситуации к другой. Поэтому от собственно мемориала ветеранам Вьетнама мы перейдем к монументам, которые аналогичным образом выполняли миссию почтения памяти неоднозначных событий, пытаясь свести сходства и различия между ними в единую структуру анализа.

В ходе рассмотрения нашего предмета мы проследим социальные, политические и культурные траектории переговорного процесса, результатом которого стало сооружение мемориала ветеранам Вьетнама. Этот процесс столкнулся с рядом определенным образом связанных друг с другом проблем: (1) социальные проблемы закре-

\*Перевод С.Я. Маршака.

пления в общественном сознании болезненных эпизодов прошлого (поражение в войне, неискупленное поколение ветеранов), (2) политическая проблема почтения памяти события, относительно которого отсутствует национальное согласие, и (3) культурная традиция работы в русле традиционных ожиданий относительно военно-мемориального жанра и наоборот.

## Открытие

Мемориал ветеранам Вьетнама был открыт 11 ноября 1982 года\*\*, спустя семь лет, как последний американский солдат погиб во Вьетнаме. Непосредственно перед церемонией открытия 150 тысяч зрителей встретили аплодисментами парад 15 тысяч ветеранов. Украшением трехчасового действия стал мастерски срежиссированный пролёт боевых самолетов и вертолетов. Еще большую торжественность событию придала предшествовавшая ему 56-часовая месса со свечами в Национальном соборе\*\*\*, где были зачитаны имена всех 57 939 американцев, погибших во Вьетнаме. Президент Соединенных Штатов, принявший участие в этой церемонии, зажег свечу в память павших и прослушал часть длинного списка имен.

С самого начала в этих мемориальных церемониях неоднократно возникали темы возрождения и солидарности, которые отразил девиз парада в День ветеранов – «Маршируем вместе» (Marching along Together). Этот девиз стал своего рода прологом к призыву, прозвучавшему в день открытия мемориала: «Пусть этот мемориал положит начало исцелению нации и станет вечным символом нашего национального единства». Но если официальный оратор утверждал, что монумент представляет собой путь «к единению любимой нами Америки с ее храбрейшими и лучшими сынами», то последние скорее недоумевали, почему этот путь занял так много времени. Как сказал один из ветеранов, «они должны были это сделать, когда пер-

\*\*11 ноября в США отмечается национальный праздник – День ветеранов, провозглашенный указом президента Вудро Вильсона в 1919 году в честь окончания Первой мировой войны. В этот день 1982 года состоялось лишь официальное открытие мемориала ветеранам Вьетнама, но работы продолжались еще два года.

\*\*\*Национальный собор в Вашингтоне заложен в 1907 году и является главным культовым объектом США. Использование собора в практиках коллективного поминовения имеет длительную традицию. В частности, здесь была совершена церемония по случаю окончания Первой мировой войны, а во время Второй мировой войны в соборе происходили ежемесячные мемориальные службы.

вые из нас вернулись домой в 1971-м». Министр обороны Каспер Вайнбергер признал, что мемориал появился с опозданием, но при этом добавил, что «в конечном итоге мы пришли к признанию вашей жертвы». В подобном ключе президент Рейган, разглядывая список погибших, заявил, что теперь каждый «начинает понимать, что они просто сражались за дело». (*Washington Post*, 14 ноября 1982, секция А, стр. 1, 18, 20; *New York Times*, 11 ноября 1982, секция А, стр. 1).

Многие были не согласны с этим утверждением президента. Сама церемония открытия началась скорее со слов раскаяния, а не с прямой оценки: «Мы взываем к милости, чтобы повернуться лицом к нашему прошлому». А в момент эмоциональной кульминации церемонии, при возложении лавровых венков, из толпы раздался нелестный вопрос: «Так за что же мы воевали?» (*U.S. News and World Report*, 22 ноября 1982, стр. 66). Никто не осмелится утверждать, что американцы достигли единого ответа на этот вопрос.

### Дилеммы поминовения

Память о Вьетнамской войне и ее времени вписана в рамки культуры поминовения. Существующие в культурологических исследованиях аналитические подходы определяют как мемориальные объекты, так и культурные объекты в целом в качестве «обретшего форму всеобщего смысла (significance)» (Griswold, 1987a, p. 13). Однако в нашем случае проблема заключается в том, чтобы сформулировать подход к той разновидности поминовения, когда смысл не является общим для всех.

Одно из наиболее влиятельных направлений исследования социальных функций поминовения задал Эмиль Дюркгейм. По его мнению (Durkheim, 1965, p. 420), мемориальные ритуалы и символы служат для сохранения и прославления традиционных верований, «для поддержания их жизненной силы, предотвращения их стирания из памяти и, в конечном итоге, для оживления наиболее существенных элементов коллективного сознания. Через [практики поминовения] определенная группа периодически освежает свое предание о себе и чувство своего единства». В русле концепции Дюркгейма находится богатая исследовательская традиция, к которой среди прочих относятся работы Мориса Хальбвакса (Halbwachs, 1941b, 1950), Роберта Хертца (Hertz, 1965) Ллойда Уорнера (Warner, 1959), Барнада Барбера (Barber, 1972), Эдварда Шилза (Shils, 1981) и Дэвида Лоуэнтала (Lowenthal, 1985). Вслед за Дюркгеймом в этих работах

подчеркивается, каким образом мемориальные монументы интегрируют славные события прошлого в текущие заботы и стремления некоторого общества. Авторы указанных трудов признают, что событиям или личностям, избранным в качестве объекта поминовения, обязательно присущ героический характер или, по меньшей мере, незапятнанная репутация. При таком подходе поминовение руководствуется чем-то вроде принципа удовольствия, который продуцирует единый позитивный образ прошлого. Но давайте предположим, что выбранное для поминовения событие, напротив, разделяет общество на разные лагеря, что такое событие (например, военный разгром или эпоха внутренних репрессий)<sup>1</sup> является болезненным для общества эпизодом. Тогда какие «традиционные верования» и «существенные элементы» могут зафиксировать посвященные этим событиям мемориалы и тем самым объединить вокруг них общество? – если, конечно, такое вообще возможно. Как возможно поминовение без согласия или без гордости?

Мемориал ветеранам Вьетнама дает основательный повод задуматься об этих проблемах. Череда событий, итогом которых стали его создание и общественная оценка, представляла собой процесс культурного производства, в ходе которого были высказаны противоположные этические оценки Вьетнамской войны и ее участников. Данный процесс состоял из семи этапов, каждый из которых был отмечен деятельностью определенных лиц и институтов. Вот эти этапы. (1) Решение Пентагона почтить память войны неприметной мемориальной доской на Арлингтонском кладбище\*. (2) Деятельность Конгресса, кульминацией которой стали Неделя ветеранов Вьетнама\*\* и ряд программ поддержки ветеранов. (3) Один из ветеранов Вьетнама формулирует концепцию монумента, далее следует кампания в его поддержку. (4) Масштабная дискуссия вокруг нетрадиционного проекта монумента, отобранного Комиссией по искусствам США. (5) Изменение исходного проекта путем внесения в него традиционных элементов. (6) Неординарная и неожиданная

<sup>1</sup> Нынешние усилия по увековечению памяти жертв Сталина в Советском Союзе представляют собой свежий пример стремления к поминовению репрессий в отношении гражданского населения.

\*Арлингтонское национальное кладбище – военное кладбище в Арлингтоне, пригороде Вашингтона. На территории кладбища захоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты. Кладбище основано в 1865 году и предназначалось для захоронения солдат, погибших в Гражданской войне, для этого был конфискован участок земли у генерала Ли – главнокомандующего армией Юга. В настоящее время на кладбище погребено около 300 тыс. человек.

\*\*28 мая – 3 июня 1979 года.

реакция публики на монумент. (7) Продолжающаяся полемика вокруг дальнейших изменений в конструкции монумента. Далее мы рассмотрим каждый из перечисленных этапов.

Сравнительный анализ показывает, что моральные оценки, воплощенные в мемориале ветеранам Вьетнама, исходят из некой формулы, единой для всех обществ, которые хотят почтить память неоднозначных военных предприятий. Если проигранная война была, согласно широко распространенному в обществе представлению, аморальной или как минимум ненужной, то, по словам Джеймса Майо (Mayo, 1988, p. 170), «поражение... не может быть забыто, поэтому нация должна отыскать пути искупления жертвы павших за ее интересы, чтобы придать поражению достойный вид. Этого можно достичь почтением скорее не самой проигранной войны, а тех, кто в ней сражался». Как будет показано ниже, именно эта мемориальная формула определенно была использована для обоснования необходимости почтить память Вьетнамской войны. При этом данная формула также может служить для оправдания памяти о тех войнах, которые имеют сходство с Вьетнамской войной. Когда израильские официальные лица выступают на церемониях, посвященных войне в Ливане, они прославляют израильских солдат яркими словами воодушевления, но их высказывания о самой войне остаются неопределенными и размытыми. Израильские чиновники признают за этой войной ее место в истории, но отрицают ее высокое значение для национального опыта. Образно говоря, это событие, которое нации пришлось проглотить, но оно никогда не будет усвоено. Такова память об «израильском Вьетнаме» – этом незаконнорожденном, но храбро исполненном деле.<sup>1\*</sup> Двусмысленность исторического деяния и двусмысленное положение его участников особенно драматичны для американского Юга. Церемонии Дня памяти Конфедерации отличаются на Юге от штата к штату, однако их общей чертой является стремление отдать должное мужеству солдат Конфедерации, не упоминая при этом о Се-

<sup>1</sup>Из беседы с Гидеоном Араном, отделение социологии Иудейского университета в Иерусалиме.

\*Вторжение Израиля в Ливан летом 1982 года с целью ликвидации баз Организации освобождения Палестины сопровождалось карательными акциями израильской армии в отношении мирного населения и вызвало резко негативную реакцию мировой общественности. В Израиле эта операция до сих пор официально не признана войной.

\*\*Сецессия – устоявшийся в американской историографии термин, обозначающий выход 11-ти южных штатов из состава США в 1860 году, а сама Гражданская война именуется «Войной Сецессии». День памяти Конфедерации сегодня отмечается в 14-ти штатах США в разное время года; традиция его празднования восходит к 1868 году, когда ветераны Конфедерации стали праздновать «день украшения» могил своих соратников.

цессии и рабстве\*\*. Аналогичную идею – отделить людей от их деяний – использовали сторонники Рональда Рейгана для оправдания его визита в Битбург, чтобы почтить память погибших нацистских солдат.<sup>1\*</sup> С проблемой признания заслуг тех, кто сражался, но проиграл войну, столкнулся и Советский Союз после вывода войск из Афганистана. В жесте беспрецедентной милости в отношении собственных военнопленных советское правительство не только поверило на слово тем, чье поведение в плену не было безупречным, но также декларировало, что «прощение военнопленных, поддавшихся давлению неприятеля, является необходимой составляющей процесса исцеления нации от ран Афганской войны» (*New York Times*, 14 июня 1988 года).<sup>2</sup> Та же самая потребность в «исцелении нации» способствовала оправданию признания заслуг ветеранов Вьетнама в Америке. И если за желанием Советского Союза простить тех, кто предал его дело, скрывается сомнительное достоинство самого этого дела, то незадолго до этого аналогичная проблема настойчиво стояла и перед Соединенными Штатами.

### Поминовение как жанровая проблема

Дискуссии о том, каким образом следует увековечить память той или иной войны, в некоторой степени являются отражением разногласий относительно ее природы (merits). В многоэтапном процессе создания мемориала ветеранам Вьетнама, с одной стороны, содержалось желание отразить в его проекте уникальность Вьетнамской войны, а с другой, стремление обнаружить, в каком отношении эта война похожа на предыдущие. От других войн Вьетнамская война отличалась тем, что она была противоречивым, этически спорным и безуспешным предприятием. При этом она напоминала другие вой-

<sup>1</sup> Подробный анализ Битбургского конфликта см. в: Schmitt, 1989.

\* Весной 1985 года в ходе визита Рональда Рейгана в ФРГ было запланировано посещение военного кладбища в городе Битбург, где находятся могилы 49 солдат СС. Предполагалось, что возложение венков на этом кладбище должно стать жестом примирения между США и Германией. Однако это вызвало негодование еврейской общественности США, в особенности потому, что в программе визита Рейгана не было посещения одного из нацистских концлагерей. В итоге 5 мая 1982 года Рейган посетил и мемориал жертвам Холокоста в Берген-Бельзене, и кладбище в Битбурге, где произнес речь о необходимости почтения памяти жертв тоталитаризма.

<sup>2</sup> Обсуждение общих проблем послевоенной адаптации ветеранов Вьетнама и Афганистана см. в: *Atlanta Journal* (October 19, 1988), p. 2A; *New York Times Magazine* (June 11, 1989), p. 60 ff.

ны тем, что пробуждала в ее участниках такие традиционные для войн достоинства, как самопожертвование, храбрость, преданность и честь. Конфликт между альтернативными проектами мемориала строился вокруг проблемы соотношения этих противоположных тенденций в рамках одного монумента.

Различия между военными монументами, как и все жанровые различия вообще, проистекают из «определенной классификации, из выявления схожих черт в разных... объектах, из установления общих оснований в беспорядке частных» (Griswold, 1987a, p. 17). По мнению Венди Грисволд, жанр – это разновидность схемы, организующей восприятие, однако литературные и художественные жанры не являются чем-то неизменным (*impermanent*) – напротив, они выражают меняющийся характер своих авторов, аудиторий и контекстов. Понятие жанра значимо и для нашей проблемы: какой монумент может быть воздвигнут в свете изменения традиционных представлений о том, как должен выглядеть военный мемориал, и что он должен выражать? Однако полностью следы традиции стереть невозможно, поэтому в данном случае следует говорить о том, в каких пределах могут изменяться мемориальные жанры. В обобщенном виде данная проблема звучит так: любой анализ культурного объекта должен содержать описание и интерпретацию его жанровых пределов. Например, когда трагедия перестает быть трагедией? Когда военный мемориал перестает быть военным мемориалом? Именно эту проблему превращения одних жанров в другие (*negotiability of genre*) было бы уместно рассмотреть в настоящем исследовании. Имеется ли некая сущность, которую можно обозначить как «военную мемориальность», и можно ли ее идентифицировать? Самое главное здесь – это понимание того, каким образом данная жанровая природа переводит идейный конфликт по поводу Вьетнамской войны в непосредственный процесс создания монумента? Каким образом она вносит свою лепту в решение задачи включения горьких событий прошлого в коллективную память?

Мы уверены, что ключ к разгадке заключается в обманутых ожиданиях, связанных с внешним видом мемориальных монументов. В случае с военными мемориалами традиционные ожидания удовлетворяются разнообразием форм, включающим такие элементы, как мемориальные строения, реалистичные статуи сражающихся людей,obelisks, арки, гранитные монолиты и другие сооружения, которые закономерно говорят о той или иной войне и предполагают определенные особенности внешнего вида, в том числе вертикальные доминанты, солидный размер и яркие цвета в сочетании с националь-

ной символикой. Если же, как в случае с монументом ветеранам Вьетнама, все эти традиционные мемориальные формы отвергаются в пользу некой новой формы, тогда следует задать вопрос, что она стремится собой выразить. Здесь возникают следующие аспекты данного вопроса. (1) Природа самой войны (объявленная / необъявленная, справедливая / несправедливая, победа / поражение). (2) Характер национальной реакции на войну (согласие / разногласие). (3) Общественное представление о социальном статусе вернувшихся с войны ветеранов (герои / девиантная группа). (4) Политический климат эпохи (консервативный / либеральный). (5) Природа политического действия (мажоритарная / ориентированные на электорат группы влияния).

## Метод

Различные отношения и интересы трансформируются в мемориальные формы благодаря инициативе определенных лиц. Прежде чем то или иное событие может быть названо достойным памяти, прежде чем какая-либо группа (*class*) лиц будет признана участником этого события, некоторые люди, а на самом деле определенные группы, должны считать и само событие, и его участников памятным явлением и быть способны убедить в этом другие группы. Мемориальные объекты не создаются сами по себе – их рождает и создают те, кто хотел бы ввести в общественное сознание определенные события и людей, о которых все прочие скорее склонны забыть. Такое представление о появлении мемориальных объектов предполагает, что в процессе их сооружения конкурирующие «предприниматели от морали» (*moral entrepreneurs*) ищут общественные площадки и общественную поддержку для своей интерпретации прошлого. Именно такие интерпретации воплощаются в символической структуре мемориальных объектов.

Имеющиеся попытки связать культурные объекты с человеческим социальным опытом редко уделяют внимание описанному процессу. Работа Эдварда Шилза и Майкла Янга о церемониале коронации (Shils, Young, 1953), труд Клиффорда Гиртца о балийских петушиных боях (Geertz, 1973), анализ Люсьеном Гольдманом пьес Расина (Goldmann, 1964) – в этих и других показательных работах содержится стремление провести параллель между символической структурой культурных объектов и ментальными структурами общества. Не отрицая достоверности этих частных исследований, следует признать два

недостатка используемого в них метода. Во-первых, этот метод допускает наличие спорных выводов, поскольку проницательный наблюдатель всегда может найти в данном культурном объекте некое отражение социума. Во-вторых, этот метод обращает внимание на то, чем является культурный объект и что он выражает, но не на то, каким образом этот объект стал таким, какой он есть, и приобрел то содержание, выражением которого он является. Данные недочеты стали очевидны при анализе мемориала ветеранам Вьетнама. Созерцая этот мемориал в конкретный момент времени, никто не сможет обнаружить способ его «декодировать», то есть определить его отношение к социуму. Лишь приняв в расчет исходные точки и растянутый во времени процесс появления этого мемориала, мы пришли к пониманию того, каким образом его символическая структура выражает ценности общества и память о войне или вырастает из них.

Поэтому в нашем исследовании использованы три различных, но при этом сопоставимых подхода, которые позволят нам воспроизвести и интерпретировать контекст, в который вписан монумент ветеранам Вьетнама. Мы будем применять (1) метод «подробного (thick) описания» отдельного случая – своего рода этнографическое описание\*, направленное на раскрытие «понятийной структуры, информирующей о действиях предмета нашего исследования» (Geertz, 1973, p. 27), (2) дискурсивный анализ, являющийся чувствительным инструментом обнаружения смысловых проявлений (как вербальных, так и визуальных) в социальных контекстах, и (3) сравнительный метод, с помощью которого будут получены общие выводы.

Применение дискурсивного анализа к теме нашего исследования требует некоторого уточнения. Двигаясь сквозь «дискурсивное окружение» культурного объекта, мы систематически обращаем внимание на общественные высказывания и жесты, которые конституируют и интерпретируют данный объект во времени и пространстве. Мы полагаем, что специализированным дискурсам социальных институтов (organizations), в том числе политических, институтов массовой информации и военных, присущи собственные мировоззрения, включающие представления о том, каким должно быть место человека в обществе и как оно должно быть выражено. Дискурсивный анализ обращается между институтами и контурами их мировоззрений, обращая внимание на специфику высказываний и действий представителей этих институтов. Некоторый дискурс и присущее ему мировоззрение могут быть рассмотрены и описаны начиная с микроуровня их лексических особенностей (например,

использование конкретных или абстрактных слов) через их синтаксические черты (такие, как использование активного или пассивного залога и др.) и далее, вплоть до всеобъемлющих аллегорических фигур.

Данный вид анализа предполагает допущение устойчивости жанровой структуры, поэтому в контексте более широкой исследовательской задачи соотнесения дискурса с социальными установками было бы интересно обнаружить противоположное поведение жанра. Применительно к анализу вербального дискурса, связанного с военными мемориалами, такой анализ предполагает выявление неожиданных комбинаций (героизм и поражение), а также фигур повторения, чрезмерности и отсутствия (т.е. слов и понятий, которые встречаются либо слишком часто, либо не встречаются вовсе).

Подобная методология предлагает рассмотрения мемориала ветеранам Вьетнама в его становлении во времени. Для этого мы предпримем подробное описание взаимодействия мемориала с его контекстом и покажем, каким образом это взаимодействие очерчивает траекторию, в рамках которой мемориал получает признание и соответствие ожиданиям. Применение компаративного анализа других сложных мемориальных объектов позволит поставить данное описание в контекст более широкого исследования соотношения между поминовением и его жанрами.

Таким образом, теоретические и методологические проблемы дают пищу друг другу. Дюркгейм и его последователи сформулировали принципы, применимые к памяти о событиях позитивного характера, в значимости которых никто не сомневается. Мы же, напротив, хотели бы понять, как происходит поминовение негативных событий. К последним, согласно нашему определению, не относятся ущерб и прочие разновидности вреда, несправедливо причиненные врагом, например, во время проигранных, но справедливых войн, или же стойко перенесенные жестокости и страдания. Скорее негативные события являются чем-то вроде моральных травм: их результат не только выражается в ущербе или поражении, но и пробуждает несогласие в обществе, а также провоцирует цензуру. Однако эти травмы не всегда удается игнорировать, отрицая их благородную сторону и забывая свершения и жертвы, которые в иных обстоятельствах считались бы героическими. Нашу теорию и методологию мы разрабатывали именно для того, чтобы вскрыть и артикулировать данное противоречие.

*Сбор материала.* Когда реалии некоторого социального опыта, например, опыта Вьетнамской войны, обращаются против некогда устоявшихся представлений, индивидуальные и институциональные

дискурсы должны подвергнуться преобразованию – в противном случае, то есть в прежних терминах данных дискурсов эта война останется непонятой. Подобное приспособление дискурса к опыту отражено в каждом аспекте сооружения мемориала ветеранам Вьетнама. Поскольку основное внимание мы уделяли именно процессу становления мемориала, это побудило нас рассмотреть особенности дискурса таких имевших отношение к делу институтов, как Комиссия по искусствам, масс-медиа, проектировщики и посетители мемориала. Нашими основными источниками стали ежедневные Ведомости Конгресса, речи на открытии мемориала и в День ветеранов, комментарии на страницах газет и журналов. Кроме того, на территории мемориала было оставлено множество посланий к погибшим солдатам от их друзей и родственников. Еще одним уровнем осмысления мемориала стали наши собственные наблюдения или наблюдения, сделанные другими людьми. От Министерства внутренних дел мы получили частичный список вещей, найденных на территории мемориала с момента его открытия. Как правило, это вещи, которые хранили память о погибшем у его семьи и друзей, – от национальных символов, например флагов, до личных вещей типа игрушек или предметов одежды, некогда принадлежавших убитому. Каждый день перед закрытием мемориала сотрудники Службы национальных парков собирают эти символы, которые затем, наряду с упомянутыми записками, регистрируются и отправляются на хранение в Музей и региональное археологическое хранилище в Лэнхэме, Мэриленд, где мы и получили возможность с ними ознакомиться.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> В ноябре 1986 года один из сотрудников Музея и регионального археологического хранилища (MARS) передал нам на исследование фотокопии всей письменной корреспонденции, оставленные у стены мемориала и собранные на тот момент. Группируя эти документы по жанрам (письма, стихи, записки, поздравительные открытки, визитные карточки, листовки и т.д.) и темам (записки о войне, записки о самом мемориале, записки об отдельных солдатах, правительственных чиновниках, членах семей и т.д.), мы стремились избежать лишнего и подобрать представительный набор и достаточное количество свидетельств. 250 из примерно 350 рассмотренных документов были скопированы и проанализированы. С другой стороны, в общем доступе существует полный, но ограниченный определенными временными рамками перечень вещей, обнаруженных Службой национальных парков. Этот список начал формироваться в ноябре 1984 года, после завершения строительства мемориала, но в сентябре 1985 года работа была внезапно прекращена из-за отсутствия средств. Однако сбор и хранение оставленных на территории мемориала вещей продолжились, и теперь они доступны для осмотра в помещении MARS. Наконец, наши непосредственные полевые наблюдения происходили в ходе четырех посещений мемориала и одного посещения движущейся стены в 1986–1989 годах. Помимо этих наблюдений, занявших в общей сложности десять часов, мы посещали региональные монументы ветеранам Вьетнама, но от этих визитов у нас остались совершенно бесформенные наблюдения.

Ни одна часть этого материала в отдельности не представляет собой слишком полезную информацию. Лишь тщательно сгруппированная и расположенная в надлежащем виде совокупность перечисленных документов и артефактов приведет к раскрытию искомого мемориального смысла.

---

\*В американской науке термин *ethnography* обозначает исследование процесса, в который включен сам исследователь.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Антипов Г. А. Человек как проект прошлого // Наука. Философия. Общество. Материалы V Российского философского конгресса. Том 3. – Новосибирск: Параллель, 2009. 496 с.
2. Арнаутова Ю. А. Культура воспоминания и история памяти // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / – М.: Кругъ, 2006, с. 47 – 55.
3. Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // «Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59).
4. Ассман Я. Культурная память: Письмо. Память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. – М., 2004.
5. Афанасьев Ю. Н. Фернан Бродель и его видение истории // Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. 623 с. С. 5 – 28.
6. Бергсон А. Материя и память. Собрание сочинений. Т.1. С. 159 – 317.
7. Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.
8. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с.
9. Блок М. Феодальное общество // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С.122 – 181.
10. Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957.
11. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. 623 с.
12. Вебер М. Избранные сочинения. М, 1989.
13. Вельцер Х. История, память и современность прошлого // Не-прикосновенный запас, 2005, № 2–3 (40–41).
14. Вен П. Как пишут историю М., 2003.
15. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 3. Философия духа. – М.: Мысль, 1977. – 471с.
16. Глебова И. И. Память русской власти: проблемы хранения, трансляции, актуализации // Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2009. № 3. С. 75 – 118.
17. Гудков Л. Д. Массовая идентичность и институциональное насилие // Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2009. № 2. С. 157 – 208.

18. Гуревич А. Я. М.Блок и «Апология истории» // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с. С. 182–231.
19. Гуревич А. Я. Марк Блок и историческая антропология. Послесловие // Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.
20. Дахин А. В. Система государственной власти в России: феноменологический транзит // Полис. 2006. № 3.
21. Зарецкий Ю. П. Истории, которые у нас не пишутся // Не-прикосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2009. № 5.
22. Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей // Отечественные записки. №5(19). 2005.
23. Козеллек Р. Социальная история и история понятий // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. Вып. 5. СПб: Алетейя, 2006. С. 33–53.
24. Ле Гофф Ж. Предисловие // Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 712 с.
25. Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 8. М., 1955.
26. Мильчина В. Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени. Франсуа Артог // Отечественные записки. № 5 (19). 2004.
27. Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999, с. 17 – 50.
28. Нора П. Всемирное торжество памяти // Не-прикосновенный запас, 2005. №2 – 3 (40 – 41).
29. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Мир истории. 2010. №1.
30. Нора П. Историки поняли, что законы – очень опасная вещь // 21 век. Интервью 31/05/2010.
31. Репина Л. П. Исторические представления и культурное многообразие мира // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып.16. 2006. 400 с.
32. Рикёр П. Память, история, забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с.
33. Розов Н. С. Историческая макросоциология: методология и методы. – Новосибирск, 2009. 412 с.
34. Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001, 392 с. – С. 8 – 25.

35. С и н и ц и н а Н . А . Историческая память как регулятив современной культуры: социологический анализ. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. социолог. наук. Майкоп, 2008. 19 с.

36. Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под ред. Л.П. Репиной, Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой. М.: ИВИ РАН, 2004.

37. У в а р о в П . История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. №5 (19). 2004.

38. Франция-память – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999.

39. Х а л ь б в а к с М . Социальные рамки памяти. М.: Новое изд-во. 2007. – 348 с.

40. Х а л ь б в а к с М . Коллективная и историческая память (глава из книги «Коллективная память») // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа: сборник. 2-е, испр. и расшир. изд.]. – М. : Новое лит. обозрение, 2005. – 780 с.

41. Ш н и р е л ь м а н В . А . Идентичность и политика постсоветской памяти // Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2009. № 2. С. 209 – 230.

42. В л о с к М . Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent //Revue de synthese historique. 1925. Т. 40. Р. 73 – 83.

43. К о r e s a a r E . , V o s u E , K u u t m a K . Mediation of memory: towards transdisciplinary perspectives in current memory studies // «Trames» 2008, Vol.12 (3)62/57.

44. Wirt Laurent Histoire et mémoire //Bulletin de Liaison des Professeurs d'Histoire-Géographie de l'Académie de Reims. N°26, 2002.

45. Memory from Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices, and Mediations // Research Centre of Culture and Communication. – University of Tartu, Estonia January 11 – 14, 2007.

46. Н а l b w a c h s М . La Mémoire collective. Paris, PUF, 1950. op. cit., p. 51 – 96, p. 97 – 142.

**В.В. Богданов, О.А. Фоменко, А.В. Байлов**

## **СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ**

Технический редактор **Т.А. Балаева**  
Корректор **О.М. Гусева**

Подписано в печать 29.08.2015. Бумага офсетная. Способ печати офсетный.  
Формат бумаги 60x84/16. Усл. печ. л. 9,3. Гарнитура шрифта Таймс.  
Кегль 11. Заказ 057. Тираж 100.

ОАО «Полиграф-Юг», г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.  
Телефон для справок: 8 (8772) 52-23-92.  
E-mail: guripp2@yandex.ru.